

Михаил Михайлович Филиппов
Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская
деятельность

Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека



Аннотация

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Михаил Михайлович Филиппов
Блез Паскаль. Его жизнь, научная и философская
деятельность

*Биографический очерк М. М. Филиппова
С портретом Паскаля, гравированным в Лейпциге Геданом*

ПРЕДИСЛОВИЕ



B. Pascal

О жизни и философии Паскаля было высказано много противоречивых мнений; и до сих пор еще трудно указать хотя бы одно исследование о Паскале, не имеющее характера либо защитительной речи, либо обвинительного акта. Даже в самое новейшее время французский академик Нурисон счел необходимым написать пространную “Защиту Паскаля” (*Defense de Pascal*) и ломать из-за него копья с писателями XVIII века. Это не помешало тому же Нурисону умалить значение научных открытий Паскаля, приписав одно из них внушению Декарта.

Что касается нас, то мы не задаемся целью ни обвинять, ни защищать. Паскаль был сыном XVII столетия и разделял недостатки своего времени. Если Ньютон, живший позднее Паскаля, мог писать примечания на Апокалипсис, лишённые всякого, даже литературного, значения, то и Паскалю можно было бы не вменять в вину подобных богословских упражнений. Но надо обладать слишком большою смелостью, чтобы не признать за Паскалем совершенно определенного и весьма почетного места в истории философии и в истории развития христианства. Одной борьбы Паскаля с иезуитами достаточно для

обеспечения ему благодарности потомства. Как философ Паскаль представляет в высшей степени своеобразное соединение скептика и пессимиста с искренно верующим мистиком; отголоски его философии можно встретить даже там, где их менее всего ожидаешь. Многие из блестящих мыслей Паскаля повторяются в несколько измененном виде не только Лейбницем, Руссо, Шопенгауэром, Львом Толстым, но даже таким по-видимому противоположным Паскалю мыслителем, как Вольтер. Так, например, известное положение Вольтера, гласящее, что в жизни человечества малые поводы часто влекут за собою огромные последствия, навеяно чтением “Мыслей” Паскаля. Паскаль говорит, например, что все результаты политической деятельности Кромвеля погибли оттого, что в его мочевого пузыря попала песчинка, и это повлекло за собой каменную болезнь. Вольтер в свою очередь заявляет, что все крайние революционные действия Кромвеля были вызваны состоянием его пищеварения. Подобных далеко не случайных аналогий между Паскалем и Вольтером можно было бы привести десятки. Весьма многие аргументы Вольтера против иезуитов взяты им у Паскаля, и можно даже сказать, что Вольтер относится гораздо снисходительнее к “достопочтенным отцам”, чем Паскаль,

Иезуиты предавали Паскаля анафеме; некий отец Гардуен произвел его даже в атеисты. Янсенисты сделали из него своего святого; философы XVIII века провозгласили Паскаля полупомешанным. Те и другие не издавали, а искажали его сочинения, причем янсенисты вычеркивали все, что им казалось неблагочестивым, а Кондорсе и другие писатели прошлого столетия старались выбросить все слишком благочестивое.

В одном сходились почти все писавшие о Паскале: все удивлялись разнообразию, силе и чрезвычайно раннему развитию его гения. Кондорсе, насмехаясь над исповедью Паскаля, которую он первый прозвал “амулетом”, написал, однако, похвальную речь научным его открытиям. Вольтер счел необходимым переиздать “Мысли” Паскаля, снабдив их в виде противоядия своими примечаниями. Суждения Вольтера о Паскале, впрочем, настолько любопытны, что не мешает привести их хотя бы в извлечениях. Посмеявшись самым жестоким образом над оптимизмом в своем “Кандиде”, где досталось Лейбницу, Вольтер с таким же остроумием обрушился на пессимизм Паскаля, сказав об этом философе:

Cerieux misanthrope, Heraclite sublime,

Qui pense qu'ici bas tout est misere et crime. ¹

“Мне кажется, – писал Вольтер в своих примечаниях к “Мыслям” Паскаля, – что общий дух произведений Паскаля – изображение человека в самом ненавистном свете; он с ожесточением рисует нас всех злыми и несчастными; он пишет против человеческой природы почти так же, как писал против иезуитов. Он приписывает сущности нашей природы то, что принадлежит лишь известным людям, и самым красноречивым образом поносит человеческий род. Я осмеливаюсь принять сторону человеческого рода против этого возвышенного человеконенавистника; я смею утверждать, что мы вовсе не так злы и не так несчастны, как полагают”.

В другом месте Вольтер пытается не только опровергнуть Паскаля, но и объяснить причины его пессимизма. “Мысли” Паскаля, говорит Вольтер, принадлежат не философу, а энтузиасту. “Если бы книга, задуманная Паскалем, была построена из таких материалов, это было бы чудовищное здание, сооруженное на песке. Но он не мог соорудить его не только по недостатку знаний, но и потому, что в последние годы его недолгой жизни мозг его расстроился”. Ссылаясь на показания Лейбница и других писателей, Вольтер пытается доказать, что Паскаль в последние пять-шесть лет своей жизни был полупомешанным, причем замечает: “Эта болезнь нисколько не более унижительна, чем горячка или мигрень. Если великий Паскаль был поражен ею, то ведь это Самсон, потерявший свои силы. Из всех этих вечных диспутантов один Паскаль остается, потому что он один был человеком

¹ Этот благочестивый человеконенавистник, возвышенный Гераклит, думающий, что в этом мире все – одно только несчастье и преступление.

гениального ума. Он один стоит на развалинах своего века”.

Этот взгляд на Паскаля, подкрепленный блестящими изречениями Вольтера и других энциклопедистов XVIII века, был в продолжение долгого времени господствующим. Он всецело отразился в замечательном для своего времени исследовании, написанном в сороковых годах настоящего столетия врачом Лелю:² автор этой работы весьма искусно сопоставил все известные в его время факты, так или иначе свидетельствующие о ненормальности душевного состояния Паскаля. К тому же взгляду отчасти склоняется и французский философ Кузен, весьма часто порицающий мнения Паскаля, но оправдывающий их болезнью этого великого человека.

Совершенно противоположный взгляд развивается во Франции целым рядом писателей, начиная с янсенистских богословов и кончая Сент-Бевом и академиком Нурисоном. Для них нравственно-философское учение Паскаля является чистейшим выражением христианства, и, охотно допуская какие угодно промахи Паскаля в личной жизни или даже в области науки, они не позволяют ни малейшего посягательства на Паскаля как на автора “Мыслей”, являющихся программой задуманной им апологии христианства.

Все эти защитительные и обвинительные речи имели свое значение в XVII и в XVIII веке, но давно пришла пора отнестись к жизни и деятельности Паскаля с полной объективностью; а при таком беспристрастном взгляде нельзя не увидеть, что как адвокаты, так и прокуроры его впадали в явные преувеличения.

Что касается болезни Паскаля, то, во-первых, никак нельзя считать эту болезнь помешательством. В XVIII веке – и еще более теперь, в конце XIX – слишком часто смешивали и смешивают всякого рода экстазы с сумасшествием; были попытки даже провести полную аналогию и установить тесную связь между всякого рода гениальностью и помешательством. Паскаль был постоянно болен, но помешанным его нельзя назвать ни в один период его жизни, даже тогда, когда он находился под влиянием сильнейшего религиозного экстаза. Сверх того, болезни Паскаля во многих случаях были никак не причиною, а следствием его чрезмерной и в этом смысле ненормальной умственной деятельности. Человек, обладавший такою поразительною силою воли, какую мы увидим у Паскаля, никак не мог подчиняться влиянию дурного пищеварения в такой степени, чтобы этому влиянию можно было приписать все направление его философии. Одно несомненно, это тот факт, что постоянная болезнь, затруднив научные работы Паскаля, направила его ум слишком исключительно к другой области, и только в этом смысле можно сказать, что болезнь Паскаля сделала его из физика мистиком. Это влияние болезни признавал он и сам, на что не раз указывал в своих сочинениях.

Но, отвергая слишком односторонние суждения философов XVIII века, еще труднее принять точку зрения тех писателей, для которых Паскаль является недостижимым нравственным авторитетом и которые готовы забыть о его истинных заслугах, лишь бы признать в нем великого религиозного проповедника. Это обратная и, пожалуй, еще менее основательная крайность.

ГЛАВА I

Детство Паскаля. – Раннее развитие. – Что в XVII веке считалось “чудом”. – Смерть матери. – Влияние отца. – Изобретение двенадцатилетним Паскалем геометрии

Блез Паскаль, сын Этьена Паскаля и Антуанетты, урожденной Бегон, родился в Клермоне 19 июня 1623 года.

² De l'Amulette de Pascal, étude sur le rapport de la santé de ce grand homme à son génie, par le docteur Lélut, 1846.

Вся семья Паскалей отличалась выдающимися способностями. Отец Паскаля, человек высокообразованный, знал языки, историю, литературу и был хорошим математиком; старшая сестра Блеза, Жильберта, была одной из ученейших женщин своего времени и занималась под руководством отца математикой и латынью; ей же принадлежит самая полная современная биография ее знаменитого брата. Младшая сестра Паскаля, Жаклина, отличалась поэтическим и сценическим талантом. Что касается самого Паскаля, он с раннего детства обнаруживал признаки необыкновенного умственного развития.

Любопытный факт, относящийся к младенческим годам Паскаля, сообщается в краткой биографической заметке, составленной племянницей Паскаля, дочерью его старшей сестры, также унаследовавшей литературные склонности семьи.

Когда Паскалю исполнился год, с ним, по словам его племянницы, приключилось “нечто необыкновенное”. Мать Паскаля была женщина очень молодая, но тем не менее весьма серьезная. Она была “очень набожна и весьма щедра к бедным” – черты, которые мы впоследствии встретим у самого Паскаля. В Клермоне жила, между прочим, одна бедная женщина, которую все считали ведьмой; но мать Паскаля не была суеверна, смеялась над бабьими сплетнями и продолжала подавать этой женщине милостыню. Однажды с маленьким Паскалем приключилось странное нервное расстройство, вроде припадка падучей болезни. Болезнь эта сама по себе была в то время весьма распространена между детьми и получила даже особое название (в Париже ее называли *tomber en chartre*), но у Паскаля нервные припадки сопровождались особым рода водобоязнью: один вид воды вызывал у него конвульсии. Сверх того, у маленького Паскаля было замечено следующее: годовалый ребенок ревновал мать к отцу. Он очень любил, когда отец и мать ласкали его порознь; но стоило отцу приласкать при нем мать или даже подойти к ней, ребенок начинал кричать, с ним делались судороги и он впадал в совершенное изнеможение.

Все знакомые и приятели Паскалей были твердо уверены, что ребенок околдован и что его сглазила ведьма. Родители Паскаля сначала смеялись над этим мнением, но состояние ребенка ухудшалось, и наконец сомнения отца Паскаля поколебались. Чтобы убедиться окончательно в виновности или невинности ведьмы, Этьен Паскаль призвал женщину в свой кабинет и стал ее допрашивать. Женщина приняла вид угнетенной невинности. Тогда отец Паскаля переменял тон.

– Я знаю, что ты околдовала моего ребенка, – сказал он, – и если ты сейчас же не сознаешься в вине, я доведу тебя до виселицы.

Тогда мнимая колдунья бросилась на колени и стала каяться так чистосердечно, что наконец сам Этьен Паскаль поверил ей; а хитрой женщине только этого и было надо. Она рассказала, что будто бы желала околдовать ребенка в отместку за то, что Паскаль, занимавший должность по финансовому ведомству, отказался от ходатайства по ее тяжбному делу, которое оказалось неправым.

– Чтобы отомстить вам, – сказала женщина, – я наговорила на вашего ребенка смерть.

Испуганный не на шутку отец воскликнул:

– Как! Неужели мой ребенок должен умереть?

– Есть только одно средство, – сказала женщина, – надо, чтобы кто-нибудь другой умер за него.

– Нет, – ответил Этьен Паскаль, – я не хочу, чтобы кто-либо другой пострадал за меня или даже за моего ребенка.

– Не тревожьтесь, – возразила старуха, – я могу перенести его жребий на какое-либо животное.

Этьен Паскаль предложил лошадь, но женщина удовольствовалась кошкой, которую “заговорила” самым первобытным способом, а именно, выбросила из окна и разбила ей голову. Затем она приложила ребенку какую-то припарку к животу. Когда отец Паскаля возвратился домой со службы, он застал всех домашних в слезах, а ребенок лежал как мертвый. Отец выбежал из комнаты и, встретив на лестнице мнимую ведьму, дал ей такую пощечину, что женщина скатилась со ступеней. Нисколько не смутившись, она встала и

сказала, что ребенок жив и “отойдет” до полуночи. Действительно, маленький Паскаль “отошел”, но когда отец приблизился, в виде опыта, к матери, ребенок опять стал метаться и кричать, и только через несколько недель эта странная ревность прошла. Тем не менее все уверовали в чудесную силу ведьмы.

Маленький Паскаль потерял мать, когда ему было всего три года, и эта утрата во многих отношениях определила его судьбу. Паскаль был единственным сыном у своего отца, и последнее обстоятельство вместе с удивительными способностями ребенка побудило отца много заниматься его умственным воспитанием; но из-за отсутствия матери физический уход за ребенком был плох, и еще в детстве Паскаль не отличался крепким здоровьем.

Паскаль никогда не посещал никакой школы и не имел другого учителя, кроме своего отца.

В 1631 году, когда маленькому Паскалю было восемь лет, его отец переселился со всеми детьми в Париж, продав по тогдашнему обычаю свою должность и вложив значительную часть своего небольшого капитала в Отель де-Вилль.

Имея много досуга, отец почти исключительно занялся умственным воспитанием сына.

Сестра Паскаля уверяет, что отец всячески старался умерить пыл ее брата к занятиям. Отчасти это справедливо – но только по отношению к самым ранним отроческим годам Паскаля.

В те времена нередко обучали латыни восьмилетних детей, но отец Паскаля решил начать с ним латынь, когда мальчику исполнится двенадцать лет, а тем временем преподавал ему общие правила грамматики и, насколько можно судить по немногим имеющимся сведениям, преподавал гораздо более толково, чем тогдашние школьные учителя.

Маленький Паскаль отличался замечательной понятливостью и любознательностью. Отец часто рассказывал ему вещи, могущие поразить воображение ребенка, но Блез тотчас доискивался объяснения и никогда не довольствовался плохим или неполным ответом. У него была замечательная способность отличать истину от лжи. Если Паскаль сознавал неправильность объяснения, он старался придумать свое собственное. Однажды за обедом один из гостей ударил ножом по фаянсовой тарелке, причем раздался протяжный музыкальный звук, но, как только на тарелку положили руку, звук оборвался. Паскаль удивился и потребовал объяснения. Не получив его, он сам стал делать опыты и составил о них заметки, дав им громкое название “Трактат о звуках”. В то время Паскалю было двенадцать лет. Еще раньше произошло событие, обнаружившее изумительные математические способности его.

Отец Паскаля сам много занимался математикой и любил собирать у себя в доме математиков. Но, составив план занятий сына, он отложил математику до тех пор, пока сын не усовершенствуется в латыни. Зная любознательность Блеза, отец тщательно прятал от него все математические сочинения и при нем никогда не вел с друзьями математических бесед. Когда мальчик просил учить его математике, отец обещал это в виде награды в будущем. Юный Паскаль просил отца объяснить, по крайней мере, что за наука геометрия? “Геометрия, – ответил отец, – есть наука, дающая средство правильно чертить фигуры и находить отношения, существующие между этими фигурами”.

Двенадцатилетний мальчик задумался над этим определением. Размышления овладели им до такой степени, что в часы отдыха, находясь в зале, где он обыкновенно играл, Паскаль стал заниматься черчением фигур, даже не зная их настоящих названий. Он рисовал углем прямые линии, называя их “палками”, чертил круги, стараясь сделать их по возможности правильными, и называл их “кольцами”; затем стал доискиваться, какие пропорции существуют между фигурами и частями фигур. Ища доказательств найденных им путем измерения свойств, Паскаль составлял свои теоремы и аксиомы и мало-помалу дошел до тридцать второй теоремы первой книги Евклида, гласящей, что сумма внутренних углов треугольника равна двум прямым углам.

Как раз в тот момент, когда Паскаль оканчивал доказательство этой теоремы, в комнату вошел отец, ничего не подозревавший о занятиях сына. Сын, в свою очередь, был так

погружен в размышления, что долго не замечал присутствия отца. Трудно сказать, кто из двух был более ошеломлен: сын ли, застигнутый врасплох за недозволенным занятием, или отец, увидевший нарисованные сыном фигуры. Но изумлению отца не было предела, когда сын сознался, что старается доказать основное свойство треугольника.

– Каким образом ты додумался до этого? – спросил наконец отец.

– А вот как: я нашел сначала вот что, – и сын привел теорему, касающуюся свойств внешнего угла треугольника. – А это я узнал вот как, – и последовал ряд доказательств. Идя таким путем и говоря, например, что “две вместе взятые палки в фигуре из трех палок длиннее третьей палки”, юный Паскаль объяснил отцу все открытые им свойства “палок и колец” и наконец дошел до своих определений и аксиом.

Отец Паскаля был не только удивлен, но испуган силою этого детского ума. Не ответив сыну ни слова, он вышел из комнаты и отправился к своему приятелю Ле Пальеру, человеку ученому и расположенному к его семье. Видя крайнее волнение отца Паскаля, заметив у него даже слезы на глазах, Ле Пальер испугался и просил сказать скорее, что случилось?

– Я плачу не от огорчения, но от радости, – сказал Эгъен Паскаль. – Вы знаете, как тщательно скрывал я от моего сына книги по математике, чтобы не отвлек его от других занятий, но посмотрите, что он сделал.

И счастливый отец повел к себе Ле Пальера. Тот был изумлен не менее самого отца и сказал:

– По моему мнению, нельзя долее держать этот ум взаперти и скрывать от него эту науку. Надо сейчас дать ему книги.

Отец Паскаля дал сыну Евклидовы “Начала”, позволив читать их в часы отдыха. Мальчик прочел Евклидову “Геометрию” сам, ни разу не попросив объяснения. Не довольствуясь прочитанным, он дополнял и сочинял. Можно поэтому сказать без всякого преувеличения, что Паскаль вторично изобрел геометрию древних, созданную целыми поколениями египетских и греческих ученых. Это факт беспримерный даже в биографиях величайших математиков. Клеро на восемнадцатом году жизни писал замечательные трактаты, но он имел хорошую подготовку, да и восемнадцать лет не то, что двенадцать. Способности одного из величайших математиков всех времен – Ньютона развились сравнительно поздно. Из всех великих ученых Паскаль более кого бы то ни было имеет право на титул преждевременно развившегося и столь же преждевременно погибшего гения.

ГЛАВА II

Первые научные работы. – Начало Французской академии наук. – Арифметическая машина

Собрания, проходившие у отца Паскаля и у некоторых из его приятелей, например у Мерсенна, Роберваля, Каркави и других, приняли характер правильных ученых заседаний. Раз в неделю математики, примыкавшие к кружку Этьена Паскаля, собирались, чтобы читать сочинения членов кружка, предлагать разные вопросы и задачи. Иногда читались также присланные заграничными учеными записки. Деятельность этого скромного частного общества или, скорее, приятельского кружка стала началом будущей славной Парижской академии. В 1666 году, уже по смерти обоих Паскалей, французское правительство официально признало существование общества, успевшего приобрести прочную репутацию во всем ученом мире.

С шестнадцатилетнего возраста молодой Паскаль также стал принимать деятельное участие в занятиях кружка. Он был уже настолько силен в математике, что овладел почти всеми известными в то время методами, и среди членов, наиболее часто доставлявших новые сообщения, он был одним из первых. Не только его отец, но и гордый, завистливый математик Роберваль (изобретатель известных весов) и другие члены кружка удивлялись способностям юноши. Силен был Паскаль и в критике чужих произведений. Очень часто из

Италии и Германии присылались задачи и теоремы, и если в присланном была какая-либо ошибка, Паскаль одним из первых замечал ее.

Шестнадцати лет Паскаль написал весьма замечательный трактат о конических сечениях (то есть о кривых линиях, получающихся при пересечении конуса плоскостью, – таковы эллипс, парабола и гипербола). От этого трактата, к сожалению, уцелел лишь отрывок. Родственники и приятели Паскаля утверждали, что “со времен Архимеда в области геометрии не было сделано подобных умственных усилий” – отзыв преувеличенный, но вызванный удивлением к необычайной молодости автора. Некоторые открытые Паскалем теоремы действительно весьма замечательны. Паскалю советовали тогда же напечатать это сочинение, но он откладывал, быть может, потому, что хотел создать нечто более замечательное. Сестра его уверяет, что брат поступил так из скромности, хотя это довольно сомнительно, потому что излишняя скромность явилась у Паскаля лишь в конце жизни.

Гордясь необыкновенными способностями сына, старший Паскаль почти не вмешивался в его математические работы, в которых сын вскоре опередил отца; но отец продолжал заниматься с Паскалем древними языками, логикой и физикой, которая в то время считалась не столько опытной наукой, сколько частью философии.

Усиленные занятия вскоре подорвали и без того слабое здоровье Паскаля. В восемнадцать лет он уже постоянно жаловался на головную боль, на что первоначально не обращали особого внимания. Но окончательно расстроилось здоровье Паскаля во время чрезмерных работ над изобретенной им арифметической машиной.

Восемнадцати лет Паскаль сделал одно из остроумнейших механических изобретений, весьма важное и любопытное с теоретической точки зрения, хотя и не оправдавшее всех надежд юного изобретателя. Уверяют, что поводом к этому изобретению было назначение его отца в Руан на должность, требовавшую обширных счетных занятий: желая облегчить труд отца, Паскаль и придумал свою счетную машину. Машина эта замечательна особенно в том отношении, что изобретением ее Паскаль доказал возможность замены не только физического, но и умственного труда чисто механическими приспособлениями. Это изобретение укрепило в Паскале мысль, внушенную ему учением Декарта об автоматизме животных, мысль, состоящую в том, что наш ум действует автоматически и что некоторые сложнейшие умственные процессы по существу не отличаются от процессов механических. Теория “рефлексов головного мозга” была, таким образом, известна отчасти еще в XVII столетии.

Придуманная Паскалем машина была довольно сложна по устройству, и вычисление с ее помощью требовало значительного навыка. Этим и объясняется, почему она осталась механической диковинкой, возбуждавшей удивление современников, но не вошедшей в практическое употребление.

Идея изобретения весьма проста, но практическое выполнение ее оказалось чрезвычайно трудным.

Сам молодой изобретатель потратил на осуществление своей идеи много труда и денег. Особенно в то время, при слабом развитии техники и прикладной механики, трудно было найти рабочих, способных понять и выполнить мысль Паскаля.

Паскаль работал три года над усовершенствованием своей машины, от которой ждал чудес. Он перепробовал более пятидесяти различных моделей. Окончательная модель до сих пор хранится в Парижской консерватории искусств и ремесел. Она имеет вид латунного ящика длиною в пол-аршина. Известный математик Бине, видевший эту модель и подробно ее изучивший, отзывался о ней так: “Мысль Паскаля, особенно для того времени, следует назвать необычайно смелой, так как он задался целью заменить посредством чисто механических приспособлений деятельность нашего соображения и памяти. Но практический вопрос все еще остается открытым. Медленность хода механизма, придуманного Паскалем, очевидна”.

Впоследствии явился целый ряд механиков и математиков, старавшихся усовершенствовать изобретение Паскаля. Сам Паскаль говорит, что один часовщик, не

имевший никакого понятия о математике, вздумал украсть у него идею изобретения и построил механизм, очень красивый по внешности, но совсем негодный к употреблению. Над усовершенствованием машины Паскаля много работал знаменитый Лейбниц. В новейшее время английский механик Баббедж изобрел механизм, посредством которого человек, не знающий ни математики, ни астрономии, может простым поворачиванием колес вычислять солнечные затмения. В конце концов и эта машина оказывается лишь усовершенствованием машины Паскаля.

Как вредно отразилась работа над этим изобретением на состоянии организма Паскаля, видно из его собственных слов, что с восемнадцатилетнего возраста он не помнит ни одного дня, когда бы мог сказать, что был вполне здоров.

Желая предупредить невежественные подделки своей машины, Паскаль выхлопотал королевскую привилегию, которая была дана ему в самых лестных выражениях. Арифметическая машина Паскаля чрезвычайно удивляла его современников, в чем можно убедиться, между прочим, из одного современного стихотворного описания, где сказано, что множество дам и мужчин высшего круга стекались в Люксембургский дворец, чтобы посмотреть на это удивительное изобретение “французского Архимеда”.

ГЛАВА III

Паскаль и Декарт. – Отношение Паскаля к ученикам Галилея. – Герцог Ришелье и “Тираническая любовь”

Со времени изобретения Паскалем арифметической машины имя его стало известным не только во Франции, но и за ее пределами. Хотя сестра Паскаля и уверяет в биографии своего брата, что он в восемнадцать лет нисколько не жаждал славы, но это утверждение находится в противоречии с действиями самого Паскаля, который старался оповестить о своем изобретении всех кого мог и, например, написал об этом письмо известной шведской королеве Христине, эксцентричной дочери Густава Адольфа, занимавшейся науками, пригласившей к себе Декарта и возбуждавшей восторги современников своею молодостью и красотой еще более, чем ученостью.

Имя Паскаля не могло оставаться неизвестным также и Декарту, тем более что многие из членов кружка, в котором состояли оба Паскаля, отец и сын, многие из ближайших друзей Паскаля-отца были отъявленными противниками Декарта. В особенности враждовал с Декартом Роберваль, плохой философ, но искусный спорщик. Можно даже сказать, что молодой Паскаль послужил невольным виновником усиления разлада, и без того существовавшего между Декартом и учредителями будущей Французской академии.

Еще до изобретения Паскалем арифметической машины, когда шестнадцатилетний Паскаль написал трактат о конических сечениях, Декарту об этом было сообщено как об особом чуде. Декарт, никогда ничему не удивлявшийся, с трудом мог скрыть свое изумление, не хотел верить и пожелал лично ознакомиться с трактатом Паскаля. Когда ему был доставлен список, Декарт, прочитав несколько страниц, сказал: “Я так и думал, этот юноша учился у Дезарга; у него есть способности, но отсюда еще далеко до тех чудес, которые о нем рассказывают”.

Необходимо заметить, что в сохранившемся отрывке из трактата Паскаля юный автор сам упоминает о лионском математике Дезарге, замечая, что многим обязан его сочинениям. Тем не менее, отзыв Декарта о юношеских работах Паскаля грешит излишнею суровостью. Декарт не мог не видеть, что Паскаль не ограничился подражанием Дезаргу, но открыл много в высшей степени замечательных теорем, из которых одна, названная им “мистическим шестиугольником”, составляет весьма крупное приобретение для науки. Пристрастный отзыв Декарта, первого философа того времени, вероятно, весьма чувствительно задел юного математика; еще более были раздражены приятели отца Паскаля, и Роберваль с тех пор не упускал ни одного случая насолить Декарту.

Борьба между школою Декарта, или так называемыми картезианцами, и учредителями Французской академии, группировавшимися подле Паскаля, усилилась, когда двадцатилетний Паскаль предпринял ряд физических опытов, имевших целью продолжить исследования Торричелли и других учеников Галилея.

Прежде чем перейти к этой эпохе в жизни Паскаля, необходимо рассказать эпизод, характеризующий нравы того времени и имевший значительное влияние на судьбу всей семьи Паскалей.

Еще в декабре 1638 года тогдашнее французское правительство, разоренное войнами и казнокрадством, придумало довольно простой способ увеличения своих средств, а именно урезало ренты, получавшиеся с капиталов, вложенных в Отель де-Вилль. В числе получавших ренту был отец Паскаля. Владельцы рент стали громко роптать и собирать сходки, на которых открыто порицали правительство. Отец Паскаля считался одним из вожаков этого движения, что весьма правдоподобно, так как он вложил в Отель де-Вилль почти все свое состояние. Так или иначе, но всемогущий кардинал Ришелье, не терпевший ни малейших противоречий, отдал приказ арестовать Этьена Паскаля и посадить его в Бастилию. Паскаль-отец, заблаговременно предупрежденный одним верным другом, сначала прятался в Париже, а затем тайно бежал в Оверн. Его знаменитому сыну было в то время лишь пятнадцать лет. Можно себе представить отчаяние детей! Но неожиданно дело приняло новый оборот. Кардиналу Ришелье вдруг пришла фантазия приказать, чтобы в его присутствии была разыграна молоденькими девушками трагикомическая пьеса Скудери “Тираническая любовь”. Руководство этим спектаклем было поручено герцогине Эгийон, знавшей семейство Паскалей и давно заметившей сценические способности младшей сестры Паскаля, Жаклины, в то время тринадцатилетней девочки.

В отсутствие отца главою семьи была старшая сестра Паскаля, Жильберта. На вопрос герцогини, дозволит ли она младшей сестре принять участие в спектакле, восемнадцатилетняя девушка дала гордый ответ: “Кардинал, – сказала она, – не доставил нам столько удовольствия, чтобы мы могли в свою очередь думать о доставлении ему развлечений”.

Герцогиня настаивала и наконец, видя упорство молодой девушки, с горячностью сказала:

– Поймите, что исполнение моей просьбы, быть может, послужит к возвращению вашего отца.

Жильберта, однако, объявила, что даст ответ не прежде, чем посоветуется с близкими друзьями отца. На собранном ею совещании было решено, что сестра ее Жаклина примет назначенную ей роль.

Пьеса “Тираническая любовь” была разыграна в присутствии кардинала Ришелье 3 апреля 1639 года. Жаклина играла свою роль с замечательной грацией, очаровавшей всех зрителей и более всего самого кардинала. Умная девушка сумела воспользоваться своим успехом. По окончании спектакля она неожиданно подошла к кардиналу и продекламировала написанный ею стихотворный эпилог, в котором было сказано: “Не изумляйтесь, несравненный Арман, что я так плохо удовлетворила вашему слуху и зрению. Моя душа находится под влиянием мучительной тревоги. Чтобы сделать меня способной нравиться вам, возвратите из изгнания моего несчастного отца, спасите невинного! Этим вы возвратите свободу моему духу и телу, голосу и телодвижениям”.

Изумленный и вконец очарованный кардинал Ришелье поднял девочку и, когда она еще говорила свои стихи, несколько раз поцеловал ее, а затем сказал:

– Да, дитя мое, я сделаю для вас все, чего вы хотите. Напишите вашему отцу, чтобы он преспокойно возвратился домой.

Тут подошла и герцогиня Эгийон, которая стала хвалить старшего Паскаля, говоря:

– Это замечательно честный и ученый человек. Жаль, что его знание и трудолюбие остаются без применения. А вот, – продолжала герцогиня, указывая на Блеза Паскаля, – его сын: ему только шестнадцать лет, а он уже великий математик.

Между тем Жаклина, ободренная своим успехом, опять обратилась к кардиналу.

– Прошу еще одной вашей милости, – сказала она.

– Что такое, дитя мое? Тебе я ни в чем не могу отказать, ты слишком мила.

– Позвольте моему отцу явиться к вам лично благодарить за вашу доброту.

– Да, непременно пусть придет, только со всеми вами.

Тотчас об этом дают знать Этьену Паскалю. Он мчится на курьерских, приезжает в Париж и немедленно, взяв всех детей, представляется кардиналу. Ришелье принимает его наилюбезнейшим образом.

– Я знаю ваши достоинства и заслуги, – говорил кардинал. – Возвратитесь к вашим детям: я вам поручаю их. Я хочу сделать из них что-нибудь выдающееся.

Два года спустя (1641 год) Этьен Паскаль получил должность интенданта в Руане, в то время пост весьма выгодный для неразборчивых людей; но Этьен Паскаль бы человек честный, и, занимая эту должность в течение семи лет, он не успел скопить состояния.

Переселение в Руан, как уже было замечено, побудило Паскаля к изобретению арифметической машины. Здесь же, в Руане, он предпринял свои физические опыты.

ГЛАВА IV

Паскаль как физик и экспериментатор. – “Эфирная материя” Декарта и его мнение о барометрических опытах. – Опыты Паскаля и Перье. – Трактаты Паскаля о равновесии жидкостей и о давлении воздуха

В начале XVII века физические знания находились еще в довольно хаотическом состоянии, и прогресс со времен Аристотеля и Архимеда был весьма незначителен.

Одним из наиболее распространенных в то время заблуждений, господствовавших и в ученом мире, и среди публики, было учение о так называемой “боязни пустоты”. Утверждение, будто природа боится пустоты, часто встречается у древних писателей. Что касается величайшего из греческих философов и естествоиспытателей, Аристотеля, он понимал “боязнь пустоты” совсем в особом смысле, почти так, как понимали ее позднее Декарт и его последователи. По мнению Аристотеля, абсолютно пустого пространства вовсе не существует, и в этом-то смысле он говорил, что природа боится пустоты. Позднее комментаторы Аристотеля поняли дело иначе и вообразили, что природа обладает непреодолимым стремлением заполнить всякую образующуюся пустоту: таким образом, физические явления пытались объяснить присущими лишь чувствующим и мыслящим существам свойствами, вроде способности ощущать боязнь или испытывать стремление.

В пользу этого учения, по-видимому, говорили многие общеизвестные в то время факты, вроде поднятия воды в насосе, действия кровососных банок и т. п. Было замечено, что жидкие и воздухообразные вещества быстро наполняют пустое пространство, как только могут в него проникнуть. При этом воображали, что “боязнь пустоты” совершенно неограниченна. Были твердо убеждены в том, что если, например, сделать насос и трубку в пятьсот футов или какой угодно высоты и вытянуть из нее воздух, то вода, в которую опущена эта трубка, поднимется на какую угодно высоту, “даже до облаков”. Уверяли, что присосавшуюся банку можно, хотя и с усилием, оторвать лишь по той причине, что в ней есть немного воздуха, а если бы воздух совсем отсутствовал, то “никакие человеческие силы и даже силы ангела не были бы достаточны для этого”. Одним словом, представления относительно “боязни пустоты” были в высшей степени сбивчивы и неопределенны.

В таком состоянии находилось учение о пустоте в эпоху Галилея; но одно случайное происшествие заставило физиков глубже вникнуть в суть дела. Еще при жизни Галилея рабочие, устраивавшие фонтаны в саду флорентийского великого герцога Козимо Медичи, старались поднять воду при помощи насоса и с изумлением увидели, что вода поднимается лишь до высоты тридцати четырех футов и не идет далее несмотря на то, что над нею есть еще пустое пространство. Галилей был придворным математиком герцога, и к нему

обратились за объяснением. Галилей ответил, что природа, конечно, боится пустоты, но эта боязнь, по-видимому, не простирается выше тридцати четырех футов. Такой полусерьезный ответ, разумеется, не мог удовлетворить самого Галилея, и он настоятельно советовал своим ученикам предпринять опыты с целью исследования этого вопроса.

Почти в то же время Декарт создавал свою физическую теорию, в которой решительно отверг самое существование пустоты, а следовательно, и учение о боязни пустоты. Еще в 1631 году Декарт в одном из своих писем почти угадывает истину, замечая, что “столб ртути может быть удержан как раз такую силою, какая необходима для того, чтобы поднять столб воздуха, простирающийся от этого столба ртути до пределов атмосферы”. Вместо того, чтобы остановиться на этой простой мысли и развить ее опытами и рассуждениями, Декарт вскоре погрузился в тонкости своей “тончайшей материи” – нечто вроде эфира новейших физиков – и этим запутал свое собственное более простое объяснение. В позднейших письмах и сочинениях Декарт заботится уже не столько о весе и давлении воздуха, сколько о том, чтобы противопоставить пустоте (*le vide*) полноту (*le plein*). Он уже совсем пренебрежительно отзывается о Галилее и его учениках и, рассуждая о явлениях, зависящих от веса воздуха, объясняет их каким-то круговоротом материи, происходящим оттого, что в природе “вовсе нет пустого пространства”.

Между тем один из способнейших учеников Галилея, Торричелли, исполнил желание своего учителя и в 1643 году предпринял опыты по подъему различных жидкостей в трубках и насосах. Он сравнил движение воды в насосе с поднятием ртути в барометрической трубке и убедился, что ртуть, будучи приблизительно в четырнадцать раз плотнее воды, поднимается на высоту в четырнадцать раз меньшую, чем вода. Отсюда Торричелли вывел, что причиной подъема как воды, так и ртути является вес столба воздуха, давящего на открытую поверхность жидкости. Таким образом был изобретен барометр и явилось очевидное доказательство весомости воздуха – свойства, известного еще Галилею, который, однако, как и Декарт, не сумел использовать его для полного объяснения рассматриваемых явлений. Торричелли сделал значительный шаг вперед, но и его объяснение было не полно. Недостаточно знать, что высота ртути в барометре определяется весом давящего на ртуть столба воздуха: необходимо выяснить, каким образом передается давление воздуха и чем оно отличается, например, от давления твердых тел. Всего непонятнее казалось, каким образом давление воздуха может передаваться без всякой потери не только вниз, но и вверх.

Паскаль узнал об опытах Торричелли от Мерсенна. Последний еще в 1644 году получил письмо из Италии с извещением о результате этих опытов и пытался повторить их, но неудачно. В 1645 году Мерсенн сам поехал в Италию и, ознакомившись с делом на месте, сообщил подробности Паскалю. Паскаль в то время находился с отцом в Руане. Крайне заинтересовавшись сообщениями Мерсенна, он в свою очередь предпринял ряд опытов.

В то время Паскаль еще признавал “боязнь пустоты”, но считал ее не каким-то неограниченным стремлением заполнить пустое пространство, а силою, поддающеюся изменению и, стало быть, ограниченной. Вот что пишет сам Паскаль о своих первых опытах:

“Я узнал об опытах, сообщенных Мерсенном и возбудивших изумление всех ученых и любознательных людей, от господина Пети, интенданта руанской крепости, человека весьма начитанного и слышавшего об этих опытах от самого Мерсенна. Названный Пети и я, мы повторили эти опыты (то есть опыты Торричелли) в Руане и нашли как раз то самое, что было найдено в Италии, не заметив ничего нового. С тех пор, размышляя по этому вопросу, я утвердился в мнении, которое всегда разделял, а именно, что пустота не есть что-либо невозможное и что природа вовсе не избегает пустоты с такою боязнью, как это многие воображают”.

Общий ход мыслей, приведший Паскаля к его замечательным открытиям в области физики, сводится к следующему. Опыты Торричелли, сообщенные ему Мерсенном, убедили Паскаля, во-первых, в том, что есть возможность получить пустоту, если не абсолютную, то по крайней мере такую, в которой нет ни воздуха, ни паров воды. В “тончайшую материю” Декарта он не верил, а явления подъема воды в насосе и ртути в трубке сначала приписывал

“ограниченной боязни пустоты”, то есть, как он поясняет, “сопротивлению, оказываемому телами их взаимному разделению”. Убедившись в недостаточности этого объяснения и отлично зная, что воздух имеет вес – это говорил уже Галилей, – Паскаль напал на мысль объяснить явления, наблюдаемые в насосах и в трубках, действием этого веса. Главная трудность, однако, состояла в том, чтобы объяснить способ *передачи* давления воздуха – этого не сделал даже Торричелли, а менее всего Декарт, воображавший, что все объясняется непрерывностью материи, отсутствием пустоты и “круговоротом” веществ. Что касается Паскаля, то, раз напав на мысль о влиянии веса воздуха, он рассуждал так: если давление воздуха действительно служит причиной рассматриваемых явлений, то из этого следует, что чем меньше или ниже, при прочих равных условиях, столб воздуха, давящий на ртуть, тем ниже будет столб ртути в барометрической трубке. Стало быть, если мы поднимемся на высокую гору, барометр должен опуститься, так как мы стали ближе прежнего к крайним слоям атмосферы и находящийся над нами столб воздуха уменьшился.

Паскалю тотчас же пришла мысль проверить это положение опытом, и он вспомнил о находящейся подле Клермона горе Пюи-де-Дом. 15 ноября 1647 года Паскаль сообщил проект этих опытов мужу своей старшей сестры, Перье, бывшему в то время в Мулене. По различным обстоятельствам Перье смог произвести эти опыты лишь 19 сентября 1648 года и выполнил поручение Паскаля с возможной тщательностью. Явления, предсказанные Паскалем, оправдались на опыте с буквальной точностью.

По мере подъема на Пюи-де-Дом ртуть понижалась в трубке – и так значительно, что разница на вершине горы и у ее подошвы составила более трех дюймов. Эти наблюдения были проверены на обратном пути. Изучая подробные численные данные, присланные ему Перье, Паскаль заметил, что разница в двадцать саженей при подъеме на гору соответствует разнице в две линии на столбе ртути. Эти цифры показали Паскалю, что опыт может быть повторен в городе, и, находясь тогда в Париже, Паскаль тотчас произвел его на башне св. Иакова, а затем в одном частном доме, имевшем десять саженей высоты. Везде получались результаты, совершенно согласные с числами Перье. Эти опыты окончательно убедили Паскаля в том, что явление подъема жидкостей в насосах и трубках обусловлено весом воздуха. Оставалось объяснить способ передачи давления воздуха. Паскаль, знавший об опытах Архимеда над жидкостями, напал на простую, но гениальную мысль сравнить давление воздуха с давлением, существующим внутри жидкостей. Архимед доказал, что всякое твердое тело, частью или целиком погруженное в жидкость, теряет в своем весе и что эта потеря как раз равна весу вытесненной телом жидкости. Голландский ученый Стевин пошел еще дальше и сказал, что давление жидкости на дно сосуда зависит лишь от высоты жидкости, то есть от высоты ее уровня над дном сосуда, и не зависит нисколько от формы сосуда. Наконец Паскаль не только подтвердил вполне истину, высказанную Стевином, но и показал, что давление жидкости распространяется во все стороны равномерно и что из этого свойства жидкостей вытекают почти все остальные их механические свойства; затем Паскаль показал, что и давление воздуха по способу своего распространения совершенно подобно давлению воды.

Паскаль собирался написать обширный трактат о равновесии жидкостей, но успел составить лишь краткое исследование, да и оно было напечатано только после его смерти.

В научных работах Паскаля есть огромные достоинства, выгодно отличающие его сочинения от трудов большинства его современников. Изложение Паскаля отличается необыкновенною ясностью и общедоступностью. Его трактат о равновесии жидкостей может быть прочитан людьми, знающими лишь арифметику. Вот как, например, поясняет Паскаль теорию гидравлического пресса. Предположим, что у нас есть сосуд, закрытый со всех сторон, исключая два отверстия, из которых одно в сто раз больше другого. Если мы приладим к каждому отверстию по поршню так, чтобы эти поршни входили плотно, то один человек, движущий маленький поршень, если сосуд наполнен водою, уравнивает силу ста человек, движущих большой поршень; если же к последнему приставить только девяносто девять человек, то один человек, налегающий на малый поршень, справится со всеми

девятию девятью. Из этого видно, говорит Паскаль, что сосуд, наполненный водою или иной жидкостью, представляет новый род машины, могущей умножить силу во столько раз, во сколько нам угодно: стоит только уменьшать размеры одного отверстия и расширять другое, прилаживая в то же время соответственные поршни.

Паскаль поясняет, что эта новая машина, подобно машинам, составленным из твердых тел, не создает силы из ничего. Выигрыш силы здесь, как и всюду, достигается лишь за счет потери в скорости. Так, например, очевидно, по словам Паскаля, что человек, движущий маленький поршень, должен опустить его на один дюйм для того, чтобы большой поршень прошел лишь сотую часть дюйма. В этом легко убедиться, сравнивая количество воды, вытесненное малым поршнем, с объемом, который оставляет за собою во время движения большой поршень. Вода почти несжимаема, а потому как раз тот объем воды, который вытеснен малым поршнем, должен поместиться в пространстве, только что оставленном большим поршнем. Чтобы оба эти объема были равны между собой, необходимо продвинуть в сто раз меньший в разрезе поршень на расстояние в сто раз большее.

Паскаль целым рядом примеров поясняет свой главнейший принцип, состоящий в том, что давление жидкостей равномерно распространяется во все стороны, и доказывает, что этим свойством обуславливается множество других и объясняется много кажущихся парадоксов. В тех случаях, когда твердые или полужидкие тела оказывают равномерное давление, получаются совершенно аналогичные последствия. Когда, например, идет речь о том, почему человек или животное, погруженные в воду, почти не замечают ее давления, Паскаль поясняет это следующим сравнением. “Положите червяка в тесто и сожмите это тесто руками; вы не будете в состоянии раздавить червяка, как бы вы сильно ни сжимали. Это потому, что червяк заключен в тесто, окружающее его со всех сторон совершенно равномерно, и давление распространяется на поверхность его тела равномерно, а потому каждая частица поверхности его тела испытывает сравнительно ничтожное давление. Совершенно то же происходит с телом животного, погруженного в воду. Пусть более не утверждают, что давление воды не ощущается потому, что вода будто бы не давит на самое себя. Она оказывает давление одинаково во все стороны. Настоящая причина, почему животное, погруженное в воду, не может быть раздавлено весом находящейся над ним жидкости, состоит вовсе не в том, что это давление будто бы зависит от ничтожного веса, а в том, что животное окружено со всех сторон жидкостью, распределяющей давление по всему телу. Вообразим себе, что весь столб жидкости, находящийся над животным, внезапно отвердел, например, замерз, но что при этом остался только ничтожный слой жидкости, отделяющий животное от твердой массы. При таких условиях животное по-прежнему не будет испытывать давления, потому что давление твердой массы, сообщаемое ему при посредстве слоя воды, по-прежнему распределится равномерно”.

Совершенно подобным образом объясняет Паскаль явления, зависящие от давления воздуха. В трактате “О весе воздуха” Паскаль уже прямо и решительно выступает против учения о боязни пустоты и говорит, что все явления, приписываемые этой боязни, зависят от веса воздуха и равномерного распределения давления. На каждом шагу Паскаль проводит параллель между давлением воздушной массы и давлением жидкостей; так, например, говоря о том, как трудно разделить две сложенные вместе полированные пластинки, он объясняет это явление давлением воздуха на внешние поверхности пластинок и замечает: “совершенно подобное явление можно воспроизвести при погружении сложенных между собой пластинок в воду”. Явления в насосе Паскаль сопоставляет с различием уровней двух неодинаково плотных жидкостей в сообщающихся сосудах.

По тем открытиям, которые были сделаны Паскалем относительно равновесия жидкостей и газов, следовало ожидать, что из него выйдет один из крупнейших экспериментаторов всех времен. Но еще до производства знаменитых опытов на горе Пюи-де-Дом в жизни Паскаля произошло событие, оказавшее весьма неблагоприятное влияние на его умственную деятельность.

ГЛАВА V

Первое “обращение” Паскаля. – Паскаль в роли инквизитора и светского человека. – Смерть отца. – Молитва о болезнях

Еще со времени изобретения им арифметической машины Паскаль постоянно хворал и жаловался на усталость и головную боль. После переселения в Руан он сначала как будто оправился, но в 1646 году с отцом его произошел случай, сильно потрясший нервную систему Паскаля. Старший Паскаль во время поездки несчастливо упал и был на волосок от смерти. Этот случай, в связи с его прежним умственным состоянием, так повлиял на молодого Паскаля, что с этих пор в нем стали замечать некоторую перемену, выразившуюся прежде всего в необычайной религиозности. Сам Паскаль называл происшедший в нем внутренний переворот своим первым “обращением”. Ниже будет выяснено, что причины этого “обращения” довольно сложны.

Паскаль с детства был довольно религиозен, но никогда до тех пор не обнаруживал особого рвения в делах веры. Теперь он стал усердно читать Священное писание и богословские сочинения и, не довольствуясь собственным обращением, старался обратить всех своих домашних, не исключая отца. Старшая сестра его, Жильберта, по счастью, успела выйти замуж за того самого Перье, который помогал Паскалю в его опытах; но младшая, Жаклина, красивая, изящная девушка, подававшая блестящие надежды, писавшая стихотворения, которые заслужили похвалы Корнеля, вскоре подчинилась влиянию брата, стала думать об отречении от мира и наконец ушла в монастырь. Даже отец Паскаля уступил воздействию сына и, хотя и раньше не был атеистом, теперь стал особенно тщательно выполнять обряды и посещать церковь. Таким настроением всей семьи Паскалей воспользовались многие духовные лица. В то же время с Паскалями сблизилась многие вожаки так называемого *янсенистского* движения.

Молодой Паскаль до того увлекся своими религиозными упражнениями, что на первых же порах обнаружил все качества, характеризующие прозелитов. В одном случае он даже не остановился перед формальным доносом на человека, казавшегося ему опасным в религиозном отношении. Сестра Паскаля, Жильберта, рассказывает об этом событии самым наивнейшим образом: “В Руане в то время находился один человек (Жак Фортон), преподававший новую философию, которая привлекала многих любопытных. В числе его слушателей были брат мой и двое друживших с ним молодых людей. С первого же раза они заметили, что этот человек выводил из своей философии следствия, противоречащие учению церкви. Так, например, он путем своих умозаключений доказывал, что плоть Иисуса будто бы образовалась не из крови святой Девы, но из некоторого другого вещества, нарочно с этой целью созданного, и многие другие подобные вещи. Ему возражали, но он упорствовал в своем мнении. Обсудив между собой опасность, грозившую юношеству от свободного распространения этим человеком таких ошибочных суждений, мой брат и его друзья сначала договорились предостеречь его, но в случае, если он останется при своем мнении, приняли решение сделать на него донос. Так и случилось, потому что он пренебрег их советом. Тогда они сочли своим долгом донести на этого человека викарному руанскому епископу Беллэ, который послал от себя допросить Фортон, но, допросив его, был обманут двусмысленным исповеданием веры, им изложенным и подписанным. Сверх того, Беллэ не придавал особого значения в таком важном деле показаниям трех молодых людей. Но они, оставшись недовольными, тотчас отправились к самому руанскому архиепископу, который, разобрав дело, нашел его столь важным, что написал положительный приказ, чтобы Беллэ принудил этого человека отречься от всех пунктов, по которым он был обвиняем.

Виновный был призван в архиепископский совет и действительно отрекся от всех своих мнений. Можно сказать, – поясняет сестра Паскаля, – что он сделал это вполне искренне, потому что у него потом не сохранилось ни капли желчи против донесших на него: таким образом, все дело окончилось полюбовно”.

Некоторые биографы Паскаля пытались обелить его поступок. Но даже Нурисон, весьма снисходительный к Паскалю в подобных случаях, замечает, что “низкий поступок остается низким, хотя бы его совершил даже святой”. Паскаля оправдывают тем, что он искренно верил в гибельность нового учения, но в таком случае он мог публично опровергать его, вместо того чтобы бегать с доносами. Единственным смягчающим обстоятельством является то болезненно-восторженное настроение, в котором находился Паскаль после своего первого обращения.

По словам его сестры, Паскаль еще с ранней юности “отличался отвращением к тогдашнему модному вольнодумству”. Наука и религия составляли для Паскаля две совершенно различные области. Насколько он был пытлив в вопросах, касавшихся математики и физики, настолько же умел ограничивать свою любознательность в делах веры. Паскаль часто повторял, что таким разграничением вопросов знания и веры он обязан отцу, который с детства твердил ему, что все, что есть предмет веры, не может подлежать ведению разума, “Эти правила, – пишет сестра Паскаля, – часто повторяемые отцом, к которому брат мой питал огромное уважение и в котором видел соединение обширных научных познаний с пронизательным и сильным умом, произвели на брата такое сильное впечатление, что, слыша речи вольнодумцев, он нимало не смущался ими. Когда брат был еще совсем молод, он смотрел на вольнодумцев как на людей, исходящих из того ложного принципа, что человеческий разум выше всего существующего, вследствие чего им и не понятна сущность веры... В делах религии брат был покорен, как ребенок... Он никогда не занимался тонкими богословскими вопросами, но употребил всю силу своего ума на то, чтобы познать и применить к делу христианскую нравственность”.

Таково суждение сестры Паскаля, кое в чем верное, но, конечно, не объясняющее того противоречия, которое составляет особенность большей части религиозных экстазов, подобных тому, какому подвергся Паскаль. Каким образом человек, проникнутый началами любви к ближнему, мог дойти до того, что выступил в роли, достойной инквизитора?

Это становится понятным, если вспомнить, что настоящие инквизиторы вроде Торквемады совмещали в себе суровые добродетели с самой зверской жестокостью.

Хотя в конце своей жизни отец Паскаля отчасти подчинился влиянию сына, но по всему видно, что его воздействие на молодого Паскаля было умеряющим и отрезвляющим. Состояние здоровья сына нередко внушало отцу серьезные опасения, и с помощью друзей дома он не раз убеждал молодого Паскаля развлечься, отказаться от исключительно научных занятий и умерить дух излишней святости, “распространившийся, – по словам его сестры, – на весь дом”.

Наконец наступила временная реакция, и молодость взяла свое. До какого нервного расстройства доводили иногда Паскаля его благочестивые упражнения, видно из следующего рассказа его племянницы: “Мой дядя, – пишет она, – жил в великом благочестии, которое сообщил всему семейству. Однажды он впал в необыкновенное состояние, бывшее последствием чрезвычайных занятий науками. Мозг его был так утомлен, что с моим дядей приключился род паралича. Паралич этот распространился от пояса до самого низа, так что одно время дядя мог ходить не иначе, как на костылях. Его руки и ноги стали холодны, как мрамор, и каждый день приходилось надевать ему носки, смоченные водкой, чтобы сколько-нибудь согреть ноги”.

Врачи, видя его в таком состоянии, запретили ему всякого рода занятия; но этот живой и деятельный ум не мог оставаться праздным. Не будучи более занят ни науками, ни делами благочестия, Паскаль начал искать удовольствий и наконец стал вести светскую жизнь, играть и развлекаться. Первоначально все это было умеренно; но постепенно он вошел во вкус и стал жить, как все светские люди.

К величайшему сожалению, об этой интересной эпохе в жизни Паскаля сохранились самые скудные сведения. Его первые биографы – сестра и племянница – всячески старались набросить покров на события этого времени. Позднее враги Паскаля, очевидно, преувеличили дело, уверяя, например, что он превратился в страстного игрока и мота, а

ездил не иначе, как в карете шестерней. Эта карета, по всей вероятности, принадлежала вовсе не Паскалю, а его новому другу, герцогу Роанезу, который повсюду возил с собою Паскаля.

Но непродолжительная реакция оказалась не совсем бесплодной: Паскаль успел окончить свои опыты по гидростатике, изобрел свой знаменитый “арифметический треугольник” и положил основание теории вероятности.

Весьма крупную утрату понес Паскаль со смертью своего отца, последовавшей в 1651 году. Сам Паскаль говорит, что, если бы эта смерть произошла шестью годами раньше, то есть во время его первого обращения, он был бы погибшим человеком.

По случаю смерти отца Паскаль написал старшей сестре и ее мужу письмо, за которое его часто упрекали в бессердечии. Упрек этот едва ли основателен. Лишь при поверхностном чтении письмо Паскаля может показаться резонерским и холодным; в действительности же оно есть род исповеди или покаяния.

Светские развлечения, которые позволял себе Паскаль, нередко казались ему преступными, и в тяжелые минуты, вроде тех, которые доставила ему смерть отца, он опять становился необычайно религиозным и упрекал себя за перемену образа жизни. Если письмо Паскаля смахивает на проповедь или на пастырское послание, то свои поучения он обращает не столько к сестре, сколько к самому себе. В письме чувствуется не только утешение сестре, но и крик измученной души. “Не будем скорбеть, – пишет Паскаль, – как язычники, у которых нет надежды. Мы не потеряли отца в момент его смерти; мы потеряли его с той минуты, когда он стал членом церкви: с той минуты он уже принадлежал не нам, а божееству. Не будем более смотреть на смерть как язычники, но как христиане, то есть с надеждою. Не будем смотреть на тело как на вместилище всего скверного, но как на нерушимый и вечный храм. Природа часто искушает нас, наша похоть часто жаждет удовлетворения, но грех еще не совершен, если разум отказывается грешить”.

При таком душевном настроении неудивительно, что Паскаль нередко думал и о своей собственной смерти. Частые болезни невольно наводили его на эту мысль. Еще до смерти отца Паскаль написал в духе первых христиан молитву “о хорошем употреблении болезней”. В этой молитве он говорит: “Хотя в своей прошлой жизни я не знаю великих преступлений, которых я не имел случая совершить, жизнь моя была позорна своей полнейшей праздностью и бесполезностью всех моих действий и мыслей. Вся эта жизнь была сплошной потерей времени”. В своем самобичевании Паскаль доходит до того, что считает для себя физические страдания совершенно заслуженными и смотрит на них как на спасительное наказание. “Сознаюсь, – говорит он, – что было время, когда я считал здоровье благом”. Теперь он молит божеество лишь о том, чтобы мог страдать как христианин. “Я не молю об избавлении от страданий – это награда святых”, – с трогательною наивностью замечает Паскаль.

О том, насколько тверд был Паскаль в перенесении физических мук, сохранилось свидетельство его сестры:

“Между прочими его болезненными припадками был и тот, что он не мог проглотить никакой жидкости, пока она не была достаточно нагрета, и глотать он мог не иначе как по каплям, но так как при этом он страдал невыносимую головную болью, чрезмерным жаром во внутренностях и многими другими болезнями, то врачи приказали ему в течение трех месяцев принимать через день слабительное. Таким образом, ему приходилось принимать все эти микстуры, для чего надо было их нагревать и глотать капля за каплей. Это было сущее мученье, и всем его близким становилось тошно, но от него никто никогда не слышал ни малейшей жалобы”.

ГЛАВА VI

Светские знакомства Паскаля. – Кавалер де Мере, герцог Роанез и девица Роанез. – Роман Паскаля. – Открытие Паскалем и Ферма теории вероятностей

После смерти отца Паскаль, став неограниченным хозяином своего состояния, в течение некоторого времени продолжал еще жить светскою жизнью, хотя все чаще и чаще у него наступали периоды раскаяния. Было, однако, время, когда Паскаль стал равнодушен к женскому обществу: так, между прочим, он ухаживал в провинции Пуату за одной весьма образованной и прелестной девицей, писавшей стихи и получившей прозвище местной Сафо. Еще более серьезные чувства явились у Паскаля по отношению к сестре губернатора провинции, герцога Роанеза.

Этот герцог был весьма любопытным типом того времени, когда наряду с самым утонченным развратом попадались пуританские добродетели. Рано потеряв отца, герцог воспитывался у деда, грубого провинциального барина, который приставил к внуку гувернера, дав ему весьма оригинальный приказ научить молодого герцога “ругаться по-барски, так как настоящий вельможа должен уметь обращаться со своими слугами”. Тем не менее из юного герцога вышло совсем не то, на что рассчитывал его дед.

Еще в 1647 году молодой Роанез познакомился с Паскалем и так полюбил его, что не мог с ним расставаться на долгое время. Герцог помещал Паскаля у себя в доме, постоянно ездил с ним по своей провинции и бывал крайне огорчен, когда Паскаль покидал его на продолжительное время. Паскаль имел на герцога огромное влияние. Двадцати пяти лет этот аристократ, несмотря на все просьбы и даже угрозы родственников, отказался от весьма выгодного брачного союза, потом продал свою должность, передал свой титул одному родственнику и обрек себя на безбрачие.

Трудно определить, когда именно герцог Роанез познакомил Паскаля со своей сестрой Шарлоттой. Паскаль так часто бывал в обществе герцога, что это знакомство могло завязаться еще до смерти отца Паскаля; во всяком случае, Паскаль был уже влюблен в Шарлотту Роанез в 1652 году, когда он написал свою “Речь о любовной страсти”. Так не мог писать человек, знавший любовь лишь по книгам, и эта “Речь” красноречивее всякого признания. Что касается переписки Паскаля с Шарлоттою, из нее нельзя узнать многого, потому что сохранившиеся письма относятся к позднему периоду, когда Паскаль отгонял от себя всякую мысль о земной любви.

В своих “Мыслях” (“Pensées”) Паскаль говорит в одном месте: “Можно сколько угодно скрываться: всякий человек любит”. Эти слова могут служить наилучшею характеристикой его неудавшегося романа. По всей вероятности, Паскаль или вовсе не решился сказать любимой девушке о своих чувствах, или выразил их в такой скрытой форме, что девица Роанез, в свою очередь, не решилась подать ему ни малейшей надежды, хотя если не любила, то высоко чтילה Паскаля. Разность общественных положений, светские предрассудки и естественная девическая стыдливость не дали ей возможности обнадежить Паскаля, который мало-помалу привык к мысли, что эта знатная и богатая красавица никогда не будет принадлежать ему.

Втянувшись в светскую жизнь, Паскаль, однако, никогда не был и не мог быть светским человеком. Он был застенчив, даже робок и в то же время чересчур наивен, так что многие его искренние порывы казались просто мещанской невоспитанностью и бестактностью. В обществе настоящих светских людей, окружавших герцога Роанеза и его сестру, Паскаль казался порою просто неловким и смешным, а его близость к герцогу и влияние, которое Паскаль имел на этого вельможу, нажили ему много врагов. Даже консьержка (привратница) парижского дома герцога возненавидела Паскаля и так приревновала его к своему барину, что однажды бросилась на Паскаля с кухонным ножом, и он только чудом избежал смерти. Между светскими людьми, вращавшимися подле герцога, было немало блестящих молодых людей вроде известного в то время франта и хлыща Митона и гораздо более умного, но нахального и преисполненного самомнением кавалера де Мере. Этот последний совершенно случайным образом стал виновником одного из лучших научных открытий Паскаля, и о нем стоит поговорить уже потому, что нашлись биографы, вообразившие, будто этот кавалер имел огромное влияние на Паскаля и чуть ли не

содействовал происшедшему в нем новому внутреннему перевороту.

Кавалер де Мере был в полном смысле тип блестящего салонного философа, как раз под стать тем ученым дамам, которых изобразил Мольер в своей известной комедии “Жеманницы” (“Les prîcieuses ridicules”). Кавалер де Мере был именно таким prîcieux. Он оставил немалое количество сочинений, “принесших ему немного чести”, как выразился один из его современников. Весьма образованный для дворянина того времени, знавший древние языки, умевший пересыпать свою речь цитатами из Гомера, Платона и Плутарха, кавалер де Мере в своих сочинениях частью обкрадывал древних и новых писателей, частью изрекал гениальные афоризмы вроде того, что “брак есть сад, где столько же терниев, сколько цветов” – он сам, впрочем, был холост. По-видимому, он считался почти гением в высшем обществе, где блистал фразами вроде следующих: “Если любовь рисуют совсем нагою, то, конечно, с целью показать, что она доводит до рубашки тех, кто за нею следует”. Девизом кавалера де Мере было: “Всегда быть честным человеком”, что не мешало ему вести отчаянную игру. После своей смерти он оставил долги, разорившие всех его кредиторов.

Этот аристократ, познакомившись у герцога Роанеза с Паскалем, отнесся к знаменитому математику так, как вообще относятся светские люди к тем, кого считают ниже себя по рождению и воспитанию. Сам Мере описывает их первое знакомство в письме, которое заслуживает быть приведенным, так как характеризует положение Паскаля в светском обществе.

“Герцог Роанез, – пишет кавалер де Мере, – имеет склонность к математике. Чтобы не скучать во время путешествия, он запасся одним пожилым человеком. (Паскаль, по своему болезненному виду, казался гораздо старше своих лет, хотя в ранней юности был замечательно хорош собою). Этот господин, – повествует де Мере, – был в то время еще очень мало известен, но потом о нем стали говорить. Это был сильный математик, не знавший, впрочем, ничего, кроме математики – науки, вовсе не имеющей значения в свете. Этот человек, не обладавший никаким вкусом и тактом, постоянно вмешивался в наши разговоры, причем почти всегда удивлял нас и часто заставлял смеяться... Так прошло два или три дня. Постепенно он становился менее уверен в себе, стал только слушать и спрашивать и имел при себе записную книжку, куда вносил разные замечания... Мало-помалу он стал говорить гораздо лучше прежнего и сам обнаруживал радость, что так изменился. Радость его была необычайна, и он выражал ее каким-то таинственным образом: говорил, например, что любил все эти вещи, так как был уверен, что другие не могут знать того, что он знает. “Наконец, – сказал он, – я вышел из этих диких мест и вижу чистое и ясное небо. Уверяю вас, что я не привык к яркому свету, но я был ослеплен им, а потому сердился на вас; но теперь я привык; этот свет восхищает меня, и я жалею о потерянном времени”. После своего путешествия этот человек перестал думать о математике, до тех пор его занимавшей!”

Основываясь на этом рассказе, иные биографы утверждают, что Мере перевоспитал Паскаля и, отбив у него охоту к математике, заставил его заниматься более важными материями.

Чтобы оценить по достоинству рассказ кавалера де Мере, надо прежде всего знать мнение самого Паскаля об этом светском философе. В одном из своих сочинений Паскаль бегло замечает: “Надо держать свои мысли взаперти. Буду остерегаться во время путешествий”. Кажется, эта заметка прямо относится к описанной поездке. По всей вероятности, Паскаль имел неосторожность откровенничать вслух о происходившей в нем внутренней борьбе, а самодовольный кавалер вообразил, что это он повлиял на Паскаля своими колкими насмешками над математикой! Что Паскаль был вовсе не высокого мнения о гениальности де Мере, доказывается письмом Паскаля к знаменитому математику Ферма. “Кавалер де Мере, – пишет Паскаль, – человек очень остроумный, но он вовсе не математик; это, как вы знаете, огромный недостаток; он даже никак не может понять, что математическая линия делима до бесконечности, и воображает, что она состоит из

бесконечного числа стоящих одна подле другой точек; никак я не мог разубедить его в этом. Если вам это удастся, он станет совершенством”. Последнее замечание есть очевидная ирония. В самом деле, можно ли спорить о математике с человеком, который не способен понять, что математическая точка не имеет измерения и что бесконечное число не имеющих никакого измерения точек есть понятие совершенно неопределенное, подобно нулю, взятому слагаемым бесконечное число раз.

Переписка кавалера де Мере с Паскалем свидетельствует также не о влиянии, оказанном им на великого человека, но лишь о дерзости и самонадеянности кавалера де Мере. Сохранившееся письмо этого “честного дворянина” – настоящий перл в своем роде.

“Вы, помнится, – пишет Мере Паскалю, – сказали мне, что теперь вы не так уже уверены в превосходстве математики. Теперь вы мне пишете, что я открыл вам вещи, которых вы никогда не видели и не знали без меня. Не знаю, однако, сударь, так ли вы мне обязаны, как говорите. У вас все еще осталась привычка, приобретенная вами вследствие занятий этой наукой: вы обо всем судите только с вашими доказательствами, которые большею частью ложны. Эти длинные рассуждения мешают вам прежде всего приобрести знания более высокого сорта и притом такие, которые никогда не обманывают. Предупреждаю вас, что вы вследствие этого много теряете в свете, потому что тот, у кого есть живой ум и наблюдательность, тот сейчас же замечает по выражению лиц, которые видит, множество очень полезных вещей; но если вы, по вашему обыкновению, спросите у того, кто умеет пользоваться этого рода наблюдениями, на каком принципе они основаны, он, может быть, скажет вам, что сам не знает. Я только тогда поверю, что вы окончательно отделались от этой математики, когда вы перестанете утверждать, что маленькие тела, о которых мы спорили, делимы без конца. Но то, о чем вы теперь пишете, еще дальше от здравого смысла, чем то, что вы говорили в нашем споре. Думаете ли вы, что линия, разделенная пополам и так далее, может делиться без конца? Кто вам сказал, что вы можете так делить? А если ее части неравны, как в нечетном числе? Уверяю вас, что, как только в какой-либо вопрос впутывают бесконечность, он становится необъясним, потому что ум смущается и перепутывает все. Поэтому лучше искать истину здравым смыслом, чем вашими доказательствами. Вы знаете, что я открыл в математике вещи столь редкие, что самые ученые из древних авторов о них ничего не говорили и что лучшие математики Европы были изумлены. Вы писали о моих открытиях, равно как господи Гугенс (Гюйгенс), Ферма (Ферма) и другие”.

О “великих открытиях” кавалера де Мере, послуживших основой для работ ученых, которых де Мере не умел назвать даже по имени, будет речь ниже. Не мешает привести отзыв о переписке Мере с Паскалем, принадлежащий великому философу Лейбницу, так как это суждение философа, бывшего почти современником Паскаля, прекрасно выясняет отношение кавалера де Мере к знаменитому математику.

“Я едва удерживался от смеха, – писал Лейбниц, – когда увидел, в каком тоне пишет кавалер де Мере Паскалю. Вижу, что кавалер понял характер Паскаля, сообразив, что этот великий гений имел свои неровности, делавшие его часто слишком чувствительным к утрированным спиритуалистическим рассуждениям, вследствие чего он не раз временно разочаровывался в самых солидных знаниях. Де Мере пользовался этим, чтобы говорить с Паскалем сверху вниз. Кажется, он подсмеивается над Паскалем, как делают светские люди, обладающие избытком остроумия и недостатком знаний. Они хотят нас убедить, что то, чего они не понимают, есть пустяк. Надо бы послать этого кавалера в школу к Робервалю. Правда, у де Мере были большие способности даже к математике. Я узнал, впрочем, от Де Биллета, друга Паскаля, о знаменитом открытии, которым так хвастает этот кавалер. Будучи страстным игроком, он впервые придумал задачу об оценке пари. Предложенный им вопрос породил прекрасные исследования Ферма, Паскаля и Гюйгенса, в которых Роберваль не мог ничего понять... Но то, что кавалер де Мере пишет против бесконечной делимости, доказывает, что автор письма еще слишком далек от высших мировых сфер, и, по всей вероятности, прелести здешнего мира, о которых он также пишет, не дали ему достаточно

времени для приобретения права гражданства в более высокой области”.

За кавалером де Мере история математики должна признать ту несомненную заслугу, что он страстно любил игру в кости. Не будь этого, теория вероятностей могла бы опоздать на целое столетие.

Как страстный игрок де Мере чрезвычайно интересовался следующим вопросом: каким образом разделить ставку между игроками в случае, если игра не была окончена? Решение этой задачи совершенно не поддавалось всем известным до того времени математическим методам.

Математики привыкли иметь дело с вопросами, допускающими вполне достоверное, точное или, по крайней мере, приблизительное решение. Здесь предстояло решить вопрос, не зная, который из игроков мог бы выиграть в случае продолжения игры? Ясно, что речь шла о задаче, которую надо было решить на основании *степени вероятности* выигрыша или проигрыша того или другого игрока. Но до тех пор ни одному математику еще не приходило в голову вычислять события только вероятные. Казалось, что задача допускает лишь гадательное решение, то есть что делить ставку надо совершенно наудачу, например, метанием жребия, определяющего, за кем должен остаться окончательный выигрыш.

Необходим был гений Паскаля и Ферма, чтобы понять, что такого рода задачи допускают вполне определенные решения и что “вероятность” есть величина, доступная измерению. Предположим, что требуется узнать, как велика вероятность вынуть белый шар из урны, содержащей два белых шара и один черный. Всех шаров три, и белых шаров вдвое больше, чем черных. Ясно, что правдоподобнее предположить при доставании наудачу, что будет вытянут белый шар, нежели черный. Может как раз случиться, что мы вынем черный шар; но все же мы вправе сказать, что *вероятность* этого события меньше, чем вероятность вынуть белый. Увеличивая число белых шаров и оставляя один черный, легко видеть, что вероятность вынуть черный шар будет уменьшаться. Так, если бы белых шаров было тысяча, а черных – один и если бы кому-либо предложили побиться об заклад, что будет вынут черный шар, а не белый, то только сумасшедший или азартный игрок решился бы поставить на карту значительную сумму в пользу черного шара.

Уяснив себе понятие об измерении вероятности, легко понять, каким образом Паскаль решил задачу, предложенную де Мере. Очевидно, что для вычисления вероятности надо узнать отношение между числом случаев благоприятных событию и числом *всех* возможных случаев (как благоприятных, так и неблагоприятных). Полученное отношение и есть искомая вероятность. Так, если белых шаров сто, а черных, положим, десять, то всех “случаев” будет сто десять, из них десять в пользу черных шаров. Поэтому вероятность вынуть черный шар будет 10 к 110, или 1 к 11.

Две задачи, предложенные кавалером де Мере, сводятся к следующему. Первая: как узнать, сколько раз надо метать две кости в надежде получить наибольшее число очков, то есть двенадцать; другая: как распределить выигрыш между двумя игроками в случае неоконченной партии. Первая задача сравнительно легка: надо определить, сколько может быть различных сочетаний очков; лишь одно из этих сочетаний благоприятно событию, все остальные неблагоприятны, и вероятность вычисляется очень просто. Вторая задача значительно труднее. Обе были решены одновременно в Тулузе математиком Ферма и в Париже Паскалем. По этому поводу в 1654 году между Паскалем и Ферма завязалась переписка, и, не будучи знакомы лично, они стали лучшими друзьями. Ферма решил обе задачи посредством придуманной им *теории сочетаний*. Решение Паскаля было значительно проще: он исходил из чисто арифметических соображений. Нимало не завидуя Ферма, Паскаль, наоборот, радовался совпадению результатов и писал: “С этих пор я желал бы раскрыть перед вами свою душу, так я рад тому, что наши мысли встретились. Я вижу, что истина одна и та же в Тулузе и в Париже”.

Приводим вкратце решение Паскаля. Предположим, говорит Паскаль, что играют два игрока и что выигрыш считается окончательным после победы одного из них в трех партиях. Предположим, что ставка каждого игрока составляет 32 червонца и что первый уже выиграл

две партии (ему не хватает одной), а второй выиграл одну (ему не хватает двух). Им предстоит сыграть еще партию. Если ее выиграет первый, он получит всю сумму, то есть 64 червонца; если второй, у каждого будет по две победы, шансы обоих станут равны, и в случае прекращения игры каждому, очевидно, надо дать поровну.

Итак, если выиграет первый, он получит 64 червонца. Если выиграет второй, то первый получит лишь 32. Поэтому, если оба согласны не играть предстоящей партии, то первый вправе сказать: 32 червонца я получу во всяком случае, даже если я проиграю предстоящую партию, которую мы согласились признать последней. Стало быть, 32 червонца мои. Что касается остальных 32 – может быть, их выиграю я, может быть, и вы; поэтому разделим эту сомнительную сумму пополам. Итак, если игроки разойдутся, не сыграв последней партии, то первому надо дать 48 червонцев, или же $\frac{3}{4}$ всей суммы, второму 16 червонцев, или у, из чего видно, что шансы первого из них на выигрыш втрое больше, чем второго (а не вдвое, как можно было бы подумать при поверхностном рассуждении).

Нетрудно видеть, что теория вероятностей имеет огромное применение. Посредством нее астрономы определяют вероятные ошибки наблюдений, артиллеристы вычисляют вероятное количество снарядов, могущих упасть в определенном районе, физики оценивают число частиц газа, ударяющих о стенки сосуда, страховые общества – размер премий и процентов, уплачиваемых при страховании жизни и имущества. Во всех случаях, когда явления чересчур сложны, чтобы допустить абсолютно достоверное предсказание, теория вероятностей дает возможность получить результаты, весьма близкие к реальным и вполне годные на практике.

Работы над теорией вероятностей привели Паскаля к замечательному математическому открытию, еще и теперь не вполне оцененному. Он составил так называемый арифметический треугольник, позволяющий заменять многие весьма сложные алгебраические вычисления простейшими арифметическими действиями.

Чтобы получить треугольник Паскаля, напишем горизонтальный ряд, составленный из единицы, повторенной сколько угодно раз: 1, 1, 1, 1 и т. д., и такой же вертикальный ряд. Дальнейшие числа треугольника получаются так: любое число треугольника Паскаля равно сумме числа стоящего над ним, с числом, стоящим слева от него. Так, например, написав сначала

$$\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 1 & \end{array}$$

вставляем затем число 2 таким образом:

$$\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{array}$$

потому что $2=1+1$. Продолжая подобные действия, нетрудно составить, например, следующий треугольник Паскаля:

	I	II	III	IV	V	VI
I	1	1	1	1	1	1
II	1	2	3	4	5	
III	1	3	6	10		
IV	1	4	10			и т.д.
V	1	5				
VI	1					

Первая строка (и первый столбец) состоит из единицы, повторенной несколько раз; вторая строка (и столбец) – из натуральных чисел 1, 2, 3, 4, 5 и т. д.; третья строка (и столбец) – из так называемых треугольных чисел 1, 3, 6, 10 и т. д.; в четвертой строке (и столбце) стоят пирамидальные числа 1, 4, 10 и т. д.

Чтобы понять смысл этих названий, предположим, что требуется узнать сразу, сколько ядер находится в куче, имеющей вид треугольника, например, такой:

0
00
000
0000

Сначала положено 1 ядро, потом 2, 3, 4 и т. д. Словом, имеем ряд натуральных чисел. Легко убедиться, что искомая сумма равна тому числу в треугольнике Паскаля, которое стоит непосредственно под последним из слагаемых натуральных чисел. Так, в нашем примере под числом 4 стоит 10, и действительно $1+2+3+4=10$. Число 10 обозначает число ядер в треугольной кучке, стороны которой содержат по 4 ядра. Числа 1, 3, 6, 10 называются “треугольными” числами.

Теперь представим себе пирамидальную кучу, составленную таким образом: на самом верху лежит одно ядро, под ним три, сложенные в треугольник,

0
00

затем шесть, сложенные в треугольник

0
00
000

и так далее. Чтобы сразу узнать, сколько ядер в такой куче, достаточно посмотреть, какое число написано под последним взятым нами треугольным числом. В данном примере искомым является число 10, стоящее под числом 6. Числа 1, 4, 10 и т. д., составляющие четвертый ряд (или столбец), могут быть названы “пирамидальными”, потому что обозначают число ядер в пирамидальных кучах.

Итак, первое применение треугольника Паскаля состоит в том, что он позволяет почти мгновенно вычислять довольно сложные суммы.

В теории вероятностей треугольник Паскаля также заменяет сложные алгебраические формулы.

При решении задач, относящихся к теории вероятностей, Паскалю пришлось искать суммы чисел, идущих на нашей фигуре от одной римской цифры до другой такой же цифры в косвенном направлении (по диагонали), например, $1+2+1$, $1+3+3+1$ и т. д. Исследование этих чисел навело Паскаля на решение частного случая задачи, известной под именем бинома Ньютона. Таким образом, Паскаль задолго до Ньютона открыл способ возвышать двучлен в целую положительную степень; Ньютон обобщил этот результат, распространив его на любые степени и дав ему алгебраическую форму.

Теория треугольника Паскаля еще ждет дальнейших исследований, могущих внести значительные упрощения в разные области математики.

ГЛАВА VII

Второе “обращение” Паскаля. – Его “завещание”. – Был ли Паскаль сумасшедшим! – Янсенисты. – Пор-Рояль. – Влияние Жаклины на брата

Еще в октябре 1654 года Паскаль вел деятельную переписку с Ферма по вопросам, касавшимся теории вероятностей; несколько недель спустя с Паскалем произошло событие, несомненно повлиявшее на него весьма сильно. Было бы, однако, ошибкою думать, что окончательная перемена в образе жизни Паскаля произошла внезапно, под влиянием одного этого события.

Первое “обращение” Паскаля, как мы видели, было вызвано несчастным падением его отца; ближайшим поводом ко второму “обращению” явилась смертельная опасность, которой подвергся он сам. Но выводить из этих двух случаев, что Паскаль оба раза подвергался временному умопомешательству, это значит злоупотреблять психиатрическими терминами. Не всякий экстаз и даже не всякая галлюцинация служат доказательством того полного душевного расстройства, выражающегося главным образом в ослаблении *воли*, которое заслуживает названия помешательства. В противном случае

пришлось бы причислить к помешанным весьма и весьма многих. В XVIII веке, когда классификация душевных болезней находилась в самом первобытном состоянии, такое смешение понятий было еще простительно, но в настоящее время ни один разумный психиатр не решился бы объявить Паскаля помешанным, хотя каждый признал бы его состояние ненормальным.

Замечательно, что сестра Паскаля даже не упоминает о новом происшествии на мосту Нейльи, которое она не смогла бы обойти молчанием в том случае, если бы Паскаль действительно был подвержен *постоянным* галлюцинациям, связанным с этим событием. Эти галлюцинации, вероятно, овладели Паскалем лишь на короткий период времени.

Нисколько не сомневаясь в правдивости самого факта, засвидетельствованного в одной монастырской летописи, следует думать, что это происшествие лишь ускорило внутренний переворот, который рано или поздно наступил бы в Паскале иным путем.

В один праздничный день Паскаль катался с друзьями в коляске, запряженной четверкою лошадей, как вдруг пристяжные закусали удила как раз в ту минуту, когда коляска, ехавшая по мосту, поравнялась с местом, не загороженным перилами. В одно мгновение лошади обрушились в воду, дышло переломилось, и кузов коляски, оторвавшись, остался с седоками на самом краю пропасти.

Этот случай сильно потряс нервную систему Паскаля, и нет ничего невозможного в том, что в течение нескольких недель или даже месяцев он, быть может, страдал бессонницей и галлюцинациями. Аббат Буало положительно утверждает следующее: “Этот великий ум всегда (?) воображал, что видит со своей левой стороны бездну. Он постоянно ставил по левую руку стул, чтобы успокоить самого себя. Его друзья, его исповедник, его начальник (то есть аббат, который был духовным наставником Паскаля в пор-рояльском янсенистском убежище) не раз убеждали его, что бояться нечего, что это не более как призраки воображения, утомленного отвлеченными метафизическими размышлениями. Он во всем соглашался с ними и четверть часа спустя опять видел бездонную пропасть, которая его пугала”.

Это показание аббата Буало тем более важно, что аббат, по-видимому, не знал о происшествии на мосту Нейльи. Трудно предположить, чтобы он мог ложно приписать Паскалю как раз такие галлюцинации, которые имеют несомненную связь с этим происшествием. Тем не менее никак нельзя поверить утверждению, что Паскаль “всегда” был одержим этими призраками.

Если философы XVIII века впадали в крайность, считая Паскаля помешанным, то едва ли правильнее их рассуждают те новейшие писатели, которые безусловно отвергают рассказ аббата Буало, якобы оскорбительный для памяти Паскаля, как будто болезненное расстройство есть порок или преступление.

Одно несомненно: так называемое второе “обращение” Паскаля было вызвано не исключительно происшествием с коляской, но целым рядом более глубоких причин. Чересчур напряженная умственная деятельность, отсутствие всяких семейных радостей и интересов, кроме абстрактно-научных, влияние друзей, принадлежавших к секте янсенистов, неудачная любовь и вечные болезни – все это в связи с прежними религиозными порывами служит достаточным объяснением окончательного “обращения” Паскаля. Сверх того, у Паскаля религиозный экстаз являлся как бы реакцией, наступавшей после чрезмерного напряжения, которого требовали его научные открытия. Это случилось с ним в первый раз после изобретения арифметической машины и написания работ по гидростатике; во второй – после открытия теории вероятностей. Когда силы его, умственные и физические, окончательно истощались, религиозная сфера была единственной, в которой он мог жить и мыслить, и даже физические страдания, угнетая умственную деятельность, не препятствовали религиозному экстазу, нередко доставляя для него подходящий материал. В этом смысле действительно можно сказать, что религиозность Паскаля имела тесную связь с его болезнями. Философы XVIII века, усмотрев эту связь, ложно поняли ее, утверждая, что Паскаль стал “рабом” своего тела. Такое объяснение чересчур грубо и односторонне.

Известно, что Паскаль, наоборот, обладал огромною силою воли.

Несомненно, что самую главную роль в обращении Паскаля, кроме влияния окружавших его лиц и идей XVII века, играли весьма сложные психологические причины, подготовившие постепенный переворот, для которого событие с коляской послужило сильным толчком, но не более. О самом обращении известно, что оно совершилось в ноябре 1654 года, в одну роковую ночь, когда Паскаль под воздействием бессонницы и долгой внутренней борьбы пришел в восторженное состояние, близкое к тому, которое овладевает иными эпилептиками перед припадком падучей болезни – состояние, обрисованное Достоевским в его “Идиоте”. Под влиянием этого экстаза Паскаль написал род исповеди, или завещания, которое зашил в подкладку своей одежды и всегда с тех пор носил при себе. Философы XVIII века сочли эту исповедь бредом помешанного; новейшие защитники Паскаля видят в ней религиозную программу, род исповедания веры.

В действительности этот документ, при всей своей бессвязности, является сжатой программой нравственно-религиозных убеждений Паскаля, но программой, написанной не вследствие глубоких размышлений о вере, а почти бессознательно, почти в бреду.

Вот это завещание, впервые опубликованное известным философом Кондорсе под названием “Амулет Паскаля”.

Год милостью Божией 1654. Понедельник 23 ноября, в день св. Климента мученика и папы и других мучеников. Приблизительно с 10 1/2 ч. вечера до 12 1/2 . (Как математик Паскаль определяет продолжительность своего экстаза с точностью до полчаса).

Усопший.

Бог Авраама, Исаака, Иакова, но не Бог философов и ученых.

Достоверность. Чувство. Радость. Мир. Бог Иисуса Христа. Твой Бог будет моим Богом. Забвение мира и всего, кроме Бога. Его можно найти лишь путями, указанными в Евангелии. Величие человеческой души. Праведный отец, мир тебя не знал, но я тебя знал. Радость, радость, радость, слезы радостей, я отделился от него: покинули меня источники живой воды. Боже мой, покинешь ли меня? Я не отделился от него навеки. Иисус Христос, Иисус Христос. Я от него отделился; я бежал от него, распял его, отрекся. Да не отделись от него никогда. Он сохраняется лишь путями, преподанными в Евангелии. Отречение от мира полное и сладостное. Полное подчинение Христу и моему духовному начальнику. Вечная радость за один день труда на земле. Да не забуду твоих заповедей. Аминь.

Конечно, эта исповедь – не бред сумасшедшего, хотя и похожа на бред. Едва ли это также талисман, имеющий целью оберечь от всякого рода несчастий.

Последнее предположение высказал Кондорсе, который был так удивлен чтением исповеди Паскаля, что счел ее чем-то вроде заклинания против дьявольского наваждения. В оправдание этой гипотезы, усвоенной также врачом Лелю, написавшим в 1846 году целую книгу “Амулет Паскаля; отношение здоровья этого великого человека к его гению” – в пользу этой гипотезы, по-видимому, говорят некоторые данные. Как увидим ниже, Паскаль в делах веры заходил весьма далеко и, например, вполне уверовал в “чудо святого терния”. Весьма правдоподобно поэтому предположить, что он мог верить в таинственную силу клочка бумаги и пергамента – он написал свою исповедь на двух таких клочках. Но было бы натяжкой утверждать, что для Паскаля его бессвязная исповедь играла только эту роль. Ее значение вполне очевидно: это – выражение душевного переворота, свидетельство перед самим собой, что отныне он решился жить новою жизнью. И действительно, исповедь Паскаля не осталась только на бумаге: она стала настоящей программой последних пяти-шести лет его существования. Наилучшим возражением против помешательства Паскаля является литературная борьба, затеянная им вскоре после того против иезуитов.

Постепенная подготовка описанного переворота началась еще летом 1654 года. Задолго до памятной ноябрьской ночи, в сентябре того же года, Паскаль “открыл душу” своей младшей сестре Жаклине “таким жалостным образом, что тронул ее до глубины души”.

Вообще Жаклина Паскаль несомненно играла весьма выдающуюся роль во втором обращении своего брата. Сестра только отплатила брату за свое собственное обращение,

состоявшееся под его влиянием. Немалую роль играло также отношение Паскаля к девице Роанез, в свою очередь удалившейся от мира под влиянием разговоров и писем Паскаля. В самую критическую эпоху жизни Паскаля, когда он еще колебался между любовью к девице Роанез и своим религиозным целомудрием, он обратился за советом и утешением к своей сестре Жаклине – и легко догадаться, какие советы могла дать ему экзальтированная девушка, похоронившая свою собственную молодость в монастыре.

В 1652 году, за два года до своего окончательного обращения, Паскаль был не особенно доволен отшельнической жизнью сестры и даже не хотел выдать Жаклине причитавшейся ей доли наследства, опасаясь, что она отдаст все свое имущество в монастырь. Сохранилось красноречивое письмо Жаклины, в котором она умоляет брата не противиться ее призванию. “Обращаюсь к вам, – писала Жаклина 5 марта 1652, – как к человеку, от которого до известной степени зависит моя судьба, чтобы сказать вам: не отнимайте у меня того, чего не можете вознаградить. Господь воспользовался вами для того, чтобы внушить мне первые впечатления своей благодати... не мешайте же тем, кто делает доброе, и если вы не имеете силы последовать за мною, то, по крайней мере, не удерживайте меня; прошу вас, не разрушайте того, что вы построили”. Затем уже другим тоном Жаклина прибавляет: “Я ожидаю от тебя этого доказательства твоей дружбы ко мне и прошу посетить меня в день моего обручения (то есть в день принятия монашеского обета), которое состоится в день Троицы”.

О том влиянии, которое оказала Жаклина Паскаль на окончательное обращение своего брата, сохранились еще следующие сведения, сообщаемые племянницей Паскаля.

“Когда мой дядя, – пишет она, – вздумал купить должность и жениться, он совещался об этом с моей теткой, принявшей монашество, которая сокрушалась о том, что ее брат, ознакомивший ее самое с тщетою и суетностью мира, сам собирался погрузиться в эту пучину. Она часто уговаривала его отказаться от своих намерений. Дядя слушал внимательно и со дня на день откладывал окончательное решение. Наконец в день зачатия св. Девы, 8 декабря, он пошел к тетке и говорил с нею. Когда перестали звонить к проповеди, он вошел в церковь, чтобы послушать проповедника. Проповедник был на кафедре, и тетка не могла успеть переговорить с ним. Проповедь была о зачатии святой Девы, о начале христианской жизни, о том, как важно христианину соблюдать святость, не обременяя себя должностями и брачными узами. Проповедник говорил с большою силою. Мой дядя, вообразив, что все это было сказано собственно для него, принял эту проповедь весьма близко к сердцу. Тетка моя, сколько могла, старалась разжечь в нем этот новый пламень, и через несколько дней дядя решил окончательно порвать со светом. Он уехал в деревню, чтобы разнакомиться со всеми, так как до того времени принимал многих гостей и делал визиты. Это ему удалось, и он порвал все связи со светскими знакомыми”.

Сопоставляя все рассказы об обращении Паскаля, нетрудно нарисовать в общих чертах картину происшедшего в нем внутреннего переворота.

Еще летом 1653 года Жаклина писала мужу своей старшей сестры о том, что молитвы ее о бедном брате будут услышаны. Насколько Паскаль стал подчиняться влиянию своей экзальтированной сестры, так походившей на него умом, талантами и даже наружностью, видно из того, что когда Паскаль вступил наконец в Пор-Рояль и каялся под руководством директора Сенглена, этот последний, заболев, передал Паскаля духовному попечению сестры Евфимии – имя, под которым Жаклина была известна в этой янсенистской общине.³ Осенью 1654 года Паскаль так часто посещал Жаклину, что, по ее собственным словам, из их бесед можно было бы составить целый том. По всему видно, что происшествие на мосту Нейльи было лишь толчком к обращению Паскаля и не более сильным, чем тот, который был дан поразившей его проповедью, слышанной им уже после той ночи, когда он, задыхаясь от

³ Пор-Рояль находился в предместье Сен-Жак в Париже. До сих пор в этой местности есть бульвар того же имени. Предместье это находится подле Латинского квартала. Здесь был женский монастырь, кельи для мужчин-отшельников, даже книжные магазины и типографии, принадлежавшие янсенистам.

восторга и благоговения, писал свое бессвязное завещание, или исповедь, самому себе. Последние месяцы 1654 года Паскаль употребил на окончательную переработку своей натуры и в начале 1655 года был уже в полном смысле слова мистиком.

ГЛАВА VIII

Очерки истории янсенизма. – “Письма к провинциалу”

Еще в эпоху своего первого обращения Паскаль тесно сблизился с некоторыми янсенистами. В последние годы своей жизни он стал одним из самых выдающихся борцов янсенистского движения.

Основателем, янсенизма был голландец Карл Янсен, или Янсений, бывший в начале XVII века епископом Ипрским, человек безупречной нравственности, отъявленный враг иезуитов, всю жизнь боровшийся против их учения и против иезуитской морали. Столпами иезуитов считались тогда Лессий и Молина, и по имени этого последнего иезуитов нередко называли даже молинистами.

В то время как иезуиты утверждали, что “благодать” принадлежит всем христианам и что самые тяжкие грехи могут быть покрыты покаянием, Янсений стал доказывать, что “благодать” принадлежит лишь избранным, и требовал от своих последователей самой суровой добродетели. Его учение во многих отношениях сходно с кальвинизмом.

Янсенизм весьма быстро распространился во Франции и особенно в Париже. Множество ученых и знатных людей, как светских, так и духовных, стало селиться в Пор-Рояле, подле Латинского квартала, под именем отшельников (*solitaires*) занимаясь в своем уединении богословскими вопросами, ручным трудом и воспитанием детей. Арно, герцог де Лианкур и впоследствии Паскаль были наиболее выдающимися представителями секты. Иезуиты заволновались. Помимо возбуждения янсенистами догматических и нравственных вопросов, иезуиты просто боялись конкуренции в области чисто материальной. До возникновения янсенизма все школы были в руках иезуитов; теперь в Пор-Рояле появились янсенистские учебные заведения, куда шли дети из слоев высшей буржуазии и из дворян. На исповедь к янсенистам стали стекаться со всех концов Парижа; в числе их последователей было много придворных. Для иезуитских школ и исповедален это явилось страшным ударом.

Правительство было враждебно янсенизму. Ришелье не мог простить Янсению его памфлета “Гальский Марс”, в котором основатель секты резко порицал кардинала за его союз с протестантскими державами. Впоследствии Людовик XIV был еще менее расположен к янсенистам, так как иезуиты сумели убедить его, что новая секта подрывает основы монархического строя.

В Париже борьба между янсенистами и иезуитами началась еще в 1643 году, когда иезуиты объявили с проповеднических кафедр, что Янсений есть “переваренный Кальвин”, а его учеников называли “лягушками, родившимися в тине женеvского болота”. Десять лет спустя папа Иннокентий X, подчиняясь влиянию иезуитов, издал буллу, в которой учение Янсения осуждалось как еретическое. Еще позднее, как раз в то время, когда Паскаль начал в Пор-Рояле отшельническую жизнь, произошло столкновение, взволновавшее весь Париж.

В числе аристократов, имевших сношения с янсенистами, был герцог де Лианкур, постоянно посещавший пор-рояльских отшельников, но не порвавший связи с господствующей церковью. Герцог Лианкур так уважал янсенистов, что не только дал в своем доме убежище двум преследуемым янсенистам, но даже отдал свою внучку на воспитание в пор-рояльский женский монастырь, где, как известно, в числе монахинь была также сестра Паскаля. Иезуиты не могли простить герцогу подобных действий.

В январе 1655 года, когда герцог явился в церковь св. Сульпиция на исповедь, исповедовавший его иезуит сказал: “Вы мне назвали ваши грехи, но утаили главное. Во-первых, вы скрываете у себя в доме еретика; во-вторых, вы отдали вашу внучку в

Пор-Рояль, да и вообще вы имеете связи с этими людьми. Вы должны покаяться, и притом не тайно, а всенародно”. Герцог промолчал, спокойно вышел из храма, но более не возвращался. Это происшествие наделало большого шума, тем более что героем его был вельможа, пэр Франции.

Этим дело не кончилось.

Один из вождей янсенистского движения, Арно, написал “Письмо к знатной особе”, в котором весьма резко порицал иезуита, отказавшего в отпущении грехов такому достойному человеку, каков герцог де Лианкур. Тогда иезуиты в свою очередь выпустили целый ряд памфлетов против Арно, а последний ответил им новым “Письмом к пэру Франции”. Вскоре с церковной кафедры спор перешел на кафедру Сорбонны, и с 1 декабря 1655 года по 31 января 1656 года в этом храме науки состоялся ряд прений, настолько бурных, что французский писатель Сент-Бев сравнивает их с самыми шумными политическими собраниями 1815 года. Прения велись на тогдашнем варварском латинском наречии, и выражения ораторов были таковы, что синдикат Сорбонны постоянно должен был прибегать к торжественной формуле: *Domine mi, importo tibi silentium* (сударь, повелеваю тебе молчать). Большинство несколько раз бурно требовало заключения дебатов; слышались крики: *conclude, concludatur* (закончить). Несмотря на весьма сильную оппозицию меньшинства, Арно был осужден и торжественно исключен из Сорбонны.

В тогдашнем парижском обществе столько же интересовались подобными дебатами, сколько теперь интересуются важнейшими политическими вопросами. Паскаль не мог остаться равнодушным в этом споре. Находясь однажды в обществе своих новых друзей, отшельников Пор-Рояля, Паскаль живо заинтересовался мнениями некоторых собеседников. Один из них сказал, что было бы чрезвычайно полезно объяснить незнающей публике, что все эти диспуты в Сорбонне основаны не на каких-либо серьезных данных, а на пустых уловках. Все одобрили эту мысль и настаивали, чтобы Арно написал серьезную защитительную речь. “Неужели же, – говорили ему, – вы позволите, чтобы вас осудили, как школьника, и не скажете ни слова в ваше оправдание хотя бы для того, чтобы ознакомить публику, в чем тут дело?” Арно попытался написать и прочел написанное в обществе друзей, но никто не сделал ни одного одобрительного замечания. “Я вижу, – сказал Арно, – что это вам не нравится, впрочем, я сам сознаю, что надо написать не так”. И, обратившись к Паскалю, он прибавил: “Но вы, вы молоды, вы должны были бы сделать что-нибудь”. Паскаль, еще не испытавший своих сил на этом новом поприще, сказал, что попытается написать проект ответа, но надеется, что найдутся люди, которые исправят его несовершенный труд. На следующий же день Паскаль принялся за работу и, по обыкновению, вскоре увлекся ею. Вместо очерка или программы он написал письмо (23 января 1656 года), которое прочитал в обществе своих пор-рояльских друзей. Он не прочел еще и половины, как Арно воскликнул: “Превосходно!.. Это всем понравится, надо напечатать”. Все присутствовавшие были того же мнения. Таково происхождение первого из знаменитых “Писем к провинциалу”. Постепенно увлекаясь своей темой, Паскаль рылся в библиотеках, вытаскивая покрытые пылью творения испанских, французских, немецких иезуитов и выставляя их к позорному столбу. В марте 1657 года появилось его последнее письмо. Можно ли допустить, что эти письма принадлежали помешанному?

Эти “Письма, написанные Луи де Монтальтом к своему другу провинциалу и к достопочтенным отцам иезуитам”, эти замечательные памфлеты против иезуитской догмы и морали были и остаются сильнейшим богословско-полемическим сочинением, когда-либо направленным против учеников Лойолы и Молины.

Впечатление, произведенное этими письмами, было необыкновенно. “Письма к провинциалу” печатались главным образом в тайной типографии, находившейся в одной из водяных мельниц, которыми тогда изобилует Париж. Печатание взял на себя Пьер Лепети, знаменитый книгопродавец и королевский типограф, который употребил для этой цели какие-то особые типографские чернила, им самим изобретенные, обладавшие свойством высыхать почти мгновенно, что позволяло печатать “Письма” за час до их отправки.

“Никогда еще, – пишет один историк и противник янсенизма, иезуит Даниил, – никогда еще почта не зарабатывала столько денег. Экземпляры были посланы во все города королевства, и, хотя меня очень мало знали в Пор-Рояле, я получил в одном бретонском городе, где тогда находился, большой пакет на свое имя, причем доставка была оплачена”.

Можно себе представить гнев иезуитов и их покровителей. Прежде всего начались всюду обыски и аресты с целью отыскать типографщика. По приказанию короля арестовали Шарля Савро, одного из пор-рояльских книгопродавцов. Допрос был сделан “уголовным поручиком” Тардифом, который допросил также жену и приказчиков Савро, но не добился ничего. Тардиф сделал также домашний обыск у Пьера Лепети, но имел не более успеха, потому что, когда королевские агенты явились в дом Лепети, его жена побежала в типографию, схватила тяжелые типографские формы и, спрятав их под фартуком, снесла одному соседу, у которого в ту же ночь напечатали 300 экземпляров второго письма, а потом еще 1200. Печатание обошлось весьма дорого, но было продано по одному су за письмо столько экземпляров, что расходы окупились с избытком.

Не только полиция, но и публика жаждала узнать, кто был этот таинственный Луи Монтальт – автор “Писем к провинциалу”. Никому не приходило в голову считать автором Паскаля, и “Письма” приписывались сначала Гомбервилю, потом аббату Леруа. Паскаль в то время жил подле Люксембурга, в доме против ворот Сен-Мишель. Это убежище предложил Паскалю поэт Патрике, ординарец герцога Орлеанского, но для большей безопасности Паскаль переехал в маленькую гостиницу под фирмою “Король Давид”, находившуюся за Сорбонной, как раз напротив коллегии иезуитов. “Подобно искусному генералу, – замечает Сент-Бев, – он остановился лицом к лицу с врагом”. В той же гостинице поселился муж его старшей сестры, Перье, приехавший в Париж по делам. Один иезуит, Фрета, родственник Перье, пришел в гости к этому последнему и по-родственному предупредил его насчет распространившихся наконец слухов об авторстве Паскаля. Перье притворился изумленным и сказал, что все это выдумка; а между тем в этот самый момент за полуоткрытым пологом, прикрывавшим его кровать, находилось десятка два экземпляров седьмого и восьмого “Писем”, только что напечатанных. Когда иезуит ушел, Перье побежал к Паскалю и, рассказав ему, в чем дело, советовал остерегаться еще больше прежнего. Паскалю, однако, удалось избежать Бастилии.

Труднее было избежать громов, направленных против сочинения Паскаля. В 1660 году по повелению короля “Письма” мнимого Монтальта были рассмотрены комиссией из четырех епископов и девяти докторов Сорбонны. Комиссия признала, что в “Письмах” содержатся все лжеучения Янсения, а также мнения, оскорбительные для папы, епископов, короля, богословского парижского факультета и некоторых монашеских орденов. Это заявление было сообщено государственному совету, который повелел, чтобы письма были изорваны и сожжены рукою палача. В таком же духе высказались некоторые провинциальные парламенты, но последние действовали далеко не искренне. Так, парламент в Э (Aix) повелел сжечь “Письма”, но члены этого судебного учреждения сами охотно читали “Письма”, и никто из них не решился пожертвовать своим экземпляром для публичной экзекуции. Наконец один из судей догадался и дал бывший у него альманах, велел надписать на переплете заглавие “Писем”. Этот невинный альманах и был сожжен публично.

О значении “Писем” Паскаля можно судить по следующему событию. Как только появились первые письма, один из руанских проповедников поспешил заявить с кафедры, что автор “Писем” – опасный еретик, клеветущий на достопочтенных отцов иезуитов. Тогда руанское духовенство избрало из своей среды комиссию, чтобы проверить цитаты, приведенные в “Письмах”. Цитаты оказались совершенно согласными с цитируемыми оригиналами, убедившись в этом, руанские священники написали послание к священникам Парижа, прося их собраться вместе с целью публичного осуждения мерзостей, проповедуемых иезуитами. В 1656 году действительно состоялся в Париже съезд, на котором было принято предложение руанского духовенства заявить публично, что “чтение

иезуитских книг привело слушателей в ужас”. “Мы были вынуждены, – писали руанские священники, – заткнуть уши, как некогда поступили отцы Никейского собора, не желавшие слушать богохульство Ария. Каждый из нас ревностно желал покарать этих жалких писак, извращающих евангельские истины и вводящих мораль, которой постыдились бы честные язычники и добрые турки”. В глазах общественного мнения дело Паскаля было, таким образом, выиграно еще прежде, чем его книга подверглась публичному сожжению.

ГЛАВА IX

Чудо “святого терния”. – “Мысли” Паскаля. – Зубная боль как стимул к научному открытию. – Последние годы жизни Паскаля. – Судьба девицы де Роанез. – Благотворительность Паскаля. – Последняя болезнь и смерть

Как раз в то время, когда Паскаль писал свои “Письма к провинциалу”, произошло событие, весьма соответствовавшее его восторженному настроению и принятое им за непосредственное проявление божьей благодати по отношению к его – собственной особе. Это событие еще раз доказывает, что можно совмещать в себе, по-видимому, противоречивые душевные качества: замечательную проницательность ума с поразительным легковерием.

Дочь старшей сестры Паскаля, то есть его племянница Маргарита Перье, страдала весьма злокачественной фистулой слезной железы. По утверждению ее матери, фистула была так упорна, что гной выходил не только из глаза, но из носа и изо рта девочки, и самые искусные хирурги Парижа считали эту рану неизлечимой. Оставалось прибегнуть к “чуду”. В Пор-Рояле находился гвоздь, носивший имя “святого терния”: уверяли, что этот гвоздь был взят из тернового венца Христа. Весьма возможно, что причиной болезни девушки было засорение глаза кончиком иглы и что чудесный гвоздь обладал попросту магнитными свойствами, а потому мог извлечь занозу. Так или иначе, но госпожа Перье уверяет, что дочь ее была исцелена “моментально”, одним прикосновением к “святому тернию”. Любители чудесного, конечно, не станут сомневаться в правдивости этих слов матери, присутствовавшей при исцелении и вообще писавшей обо всем правдиво. Но беспристрастное историческое исследование доказывает, что в подобных случаях самые правдивые люди способны преувеличивать. Показание Жильберты прямо опровергается письмом ее младшей сестры, пор-рояльской монахини Жаклины (сестры Евфимии). Последняя писала об огорчении, испытанном ею по тому поводу, что отец больной племянницы, Перье, по маловерию своему не присутствовал при исцелении и уехал, не дождавшись результата. В этом же письме Жаклина сообщает, что девушку приводили в монастырь и прикладывали к “святому тернию” в течение шести дней сряду. Это уж совсем не похоже на мгновенно совершившееся чудо.

Так или иначе, но об этом “чуде” говорил весь Париж.

“Чудо это, – поясняет госпожа Перье, – было настолько подлинное, что все его признали и оно было засвидетельствовано знаменитыми врачами и искуснейшими хирургами и *одобрено* торжественным постановлением церкви”.

После этого неудивительно, что Паскаль уверовал в столь несомненное и даже официально “одобренное” чудо. Этого мало. Ввиду того, что племянница Паскаля была его крестницей, то есть духовной дочерью, Паскаль принял излившуюся на нее благодать на свой счет. “Мой брат, – пишет госпожа Перье, – был чрезвычайно утешен тем, что божья сила проявляется с такою очевидностью во времена, когда вера, казалось, погасла в сердцах большинства людей. Радость его была так велика, что ум его отдался этому чуду всецело, и у него явилось много удивительных мыслей о чудесах, которые, представив для него религию в новом освещении, удвоили любовь и уважение, всегда питаемые им к предметам веры”.

Насколько его ум подчинился влиянию этого “чуда”, показывают многие поступки Паскаля: так, например, он даже изменил свою печать, избрав своим гербом глаз,

окруженный терновым венцом. Популярнейшее из произведений Паскаля, его “Мысли” (“Pensées”), во многих местах является отголоском чуда “святого терния”.

Под впечатлением этого события Паскаль, до тех пор ограничивавший свою богословскую деятельность полемикой с иезуитами, вздумал написать нечто вроде обширной апологии христианства. Очерки этой апологии и составили сборник, известный под именем “Мыслей” Паскаля.

Давно уже отказавшись от всяких мирских удовольствий, Паскаль все более и более предавался суровой жизни аскета. Он дошел до того, что стал считать преступными самые естественные человеческие чувства: так, например, он осуждал свою сестру Жильберту Перье за то, что она, по его мнению, слишком часто ласкала своих детей, и уверял, что материнские ласки развивают будто бы в детях только слабодушие. Паскаль не только изгнал всякую роскошь и удобства в своей собственной обстановке, но, не довольствуясь своими органическими недугами, сознательно причинял себе новые физические страдания. Часто он надевал на голое тело железный пояс с острями, и, как только ему являлась какая-либо “праздная” мысль или желание доставить себе малейшее удовольствие, Паскаль ударял локтями по поясу так, что острия вонзались в тело. Это обыкновение показалось ему столь полезным, что он сохранил его до самой смерти и поступал так даже в последние годы своей жизни, когда постоянно страдал до такой степени, что не мог ни читать, ни писать. Ему приходилось иногда ничего не делать или гулять, и в это время он постоянно боялся, что безделье совратит его с пути истины.

В своей обстановке Паскаль ввел такую простоту, что в его комнате не было ни малейшего коврика и вообще ничего лишнего. Слишком суровая жизнь вскоре привела к тому, что к Паскалю возвратились все болезни, которыми он страдал в юношеском возрасте. Прежде всего вернулась зубная боль и с нею бессонница.

Однажды ночью, мучимый жесточайшей зубной болью, Паскаль совершенно без всякого предварительного намерения стал думать о вопросах, касающихся свойств так называемой циклоиды, кривой линии, обозначающей путь, проходимый точкою катящегося по прямой линии круга, например, колеса. За одною мыслью последовала другая, образовалась целая цепь теорем. Паскаль вычислял как бы бессознательно и сам был изумлен своими открытиями. Но он давно уже бросил математику. Еще задолго перед тем он прекратил переписку с Ферма, написав последнему, что совершенно разочаровался в математике, что считает ее любопытным, но бесполезным занятием. На этот раз, однако, математические открытия как бы против воли навязывались его уму, и Паскалю пришла мысль посоветоваться с одним из своих пор-рояльских друзей. Получив совет “печатать то, что внушено ему Богом”, Паскаль решился наконец взяться за перо.

Он стал писать с необычайной быстротою. Все исследование было написано в восемь дней, причем Паскаль писал сразу, не переписывая. Две типографии едва поспевали за ним, и только что исписанные листы тотчас сдавались в набор. Таким образом явились в свет последние научные работы Паскаля. Это замечательное исследование о циклоиде приблизило Паскаля к открытию дифференциального исчисления, то есть анализа бесконечно малых величин, но все же честь этого открытия досталась не ему, а Лейбницу и Ньютону. Будь Паскаль более здоров духом и телом, он несомненно довел бы свой труд до конца. У Паскаля мы видим уже вполне ясное представление о бесконечных величинах, но, вместо того, чтобы развить его и применить в математике, Паскаль отвел широкое место бесконечному лишь в своей апологии христианства.

Последние годы жизни Паскаля были рядом непрерывных физических страданий. Он выносил их с изумительным героизмом и даже добавлял к ним новые ненужные страдания.

Паскаль стремился сделать для себя невозможными и недоступными даже самые элементарные удовольствия, вроде вкусовых ощущений. Постоянные болезни вынуждали его против воли употреблять не слишком грубую пищу. Но самый простой стол уже казался ему роскошью, и Паскаль старался глотать пищу так поспешно, чтобы не успеть распознать ее вкуса. Обе сестры – не только Жильберта, но даже монахиня Жаклина-Евфимия –

старались иногда приготовить ему что-либо вкусное, зная, что брат их подвержен потере аппетита. Но если Паскаля спрашивали, понравилась ли ему пища, он отвечал: “Отчего вы не предупредили, я не обратил никакого внимания на вкус”. Если же кто-либо начинал хвалить в его присутствии какое-нибудь кушанье, Паскаль не выносил этого и называл такое отношение к еде “чувственностью”. Хотя стол его и без того был совсем прост, Паскаль находил его слишком изысканным и говорил: “Есть для того, чтобы потакать своему вкусу, дурно и непозволительно”. В юности Паскаль любил сладости и возбуждающие вещества; теперь он не позволял приготовить себе ни соуса, ни рагу, и никак нельзя было уговорить его съесть апельсин. Сверх того, он принимал всегда определенное количество пищи, которое установил для себя сам, уверяя, что именно столько необходимо для его желудка. Как бы ни был силен у него аппетит, Паскаль не позволял себе съесть больше и, наоборот, даже при полной потере аппетита он насильно пичкал себя пищей, пока не съедал установленной порции. Когда его спрашивали, зачем он так мучит себя, Паскаль отвечал: “Надо удовлетворять потребности желудка, а не прихоти языка”. Не менее твердости обнаруживал Паскаль, когда приходилось проглатывать отвратительные микстуры, бывшие тогда в большом ходу. Он всегда беспрекословно выполнял предписания медиков и не выказывал ни малейшего признака отвращения. Когда окружающие выражали свое изумление, он смеялся, говоря: “Не понимаю, как можно обнаруживать отвращение, когда принимаешь лекарство добровольно и если предупрежден о его дурном вкусе. Отвращение является лишь в случае насилия или неожиданности”.

В последние годы жизни Паскаль обратил особое внимание на благотворительность.

Размышления о помощи бедным навели Паскаля даже на одну в высшей степени практическую мысль. Паскалю принадлежит честь организации одного из самых дешевых способов передвижения. Он первый во Франции и почти во всей Европе придумал устроить движение “пятикопеечных карет”, то есть омнибусов. При этом Паскаль имел в виду не только удешевить для бедных людей способы передвижения, но и собрать сумму, достаточную для сколько-нибудь серьезной помощи нуждающимся. В устройстве этого предприятия сказался математический ум Паскаля, сразу оценивший финансовую сторону дела, в успех которого многие отказывались верить.

Мысль об этом предприятии явилась у Паскаля по следующему случаю. В 1662 году в Блуа свирепствовал страшный голод. В Париже были напечатаны энергические воззвания к благотворителям. В воззваниях этих описывались ужасы, от которых волосы становятся дыбом. Паскаль, не будучи богат и не имея возможности послать сколько-нибудь крупной суммы голодающим, выработал план предприятия, и в конце января 1662 года образовалось под его руководством общество подрядчиков, устроивших сообщение в омнибусах по главным улицам Парижа. Во время переговоров по этому делу Паскаль потребовал, чтобы подрядчики выдали ему задаток в триста рублей с целью немедленной отправки нуждающимся. Узнав об этом намерении Паскаля, родственники стали отговаривать его, замечая, что дело еще только что установилось, что, быть может, оно даст одни убытки и что надо подождать по крайней мере следующего года. На это Паскаль возразил: “Не вижу здесь никакого затруднения. Если будет убыток, я возьму из всего своего состояния, но ждать до будущего года никак нельзя, потому что нужда не ждет”. Впрочем, подрядчики не согласились дать вперед, и Паскалю пришлось ограничиться отправкою бывших у него небольших сумм.

Паскаль очень часто убеждал свою старшую сестру посвятить себя делу вспомоществования бедным и воспитать в том же духе своих детей. Сестра отвечала, что каждый человек должен прежде всего заботиться о своей семье. “У тебя просто недостаток доброй воли, – возражал на это Паскаль. – Ты могла бы помогать бедным, не принося этим вреда твоим семейным делам”. Когда Паскалю возражали, что частная благотворительность есть капля в море и что о бедных должно заботиться общество и государство, он спорил с этим самым энергическим образом. “Мы призваны, – говорил он, – не к общему, а к частному. Самое лучшее средство облегчить нищету, это помогать бедным *бедно*, то есть

каждому по его силам, вместо того чтобы задаваться широкими планами”. Паскаль пояснял, что он вовсе не противник государственной и общественной благотворительности, но, по его словам, “великие предприятия должны быть предоставлены немногим лицам, к тому назначенным, тогда как ежедневное и постоянное вспомоществование бедным должно быть делом и призванием всех и каждого”.

Нравственная чистота Паскаля во многих случаях доводила его до крайностей. По словам его сестры: “Просто невероятно, до чего он был щепетилен в этом отношении. Я постоянно боялась сказать что-нибудь лишнее: он умел находить предосудительное даже в таких разговорах, которые я считала весьма невинными. Если мне случалось, например, сказать, что я видела где-либо красивую женщину, он сердился, говоря, что никогда не надо вести подобных разговоров в присутствии лакеев и молодых людей, потому что нельзя знать, какие мысли могут у них явиться при этом”.

За три месяца до смерти Паскаля с ним случилось происшествие, свидетельствующее о том, что в глубине этой аскетической души таились человеческие чувства и порывы, которые он подавлял в себе всевозможными способами.

Однажды Паскаль возвратился домой от обедни из церкви св. Сульпиция, как вдруг к нему подошла девушка лет пятнадцати поразительной красоты и попросила у него милостыню. Паскаль всмотрелся в нее, и им овладело чувство такой жалости, какой ему еще не приходилось испытывать. Он понял, какая опасность угрожает этой нищей красавице в большом городе, полном соблазнов и разврата.

– Кто ты такая и что заставило тебя просить подаяния? – спросил Паскаль.

Девушка стала говорить, что она деревенская, что отец ее умер, а мать лежит больная в Отель-Дье.

Паскаль, движимый не только своими религиозными чувствами, но и чисто земным чувством сострадания к молодому прекрасному существу, повел девушку к одному, лично ему не известному, но пользовавшемуся хорошей славой священнику. Он оставил ему денег, прося позаботиться об этой девушке и тщательно беречь ее от всякого зла. На другой же день он прислал к священнику женщину, которой тоже дал денег на покупку девушке платья и всего необходимого. Девушку приодели, и Паскаль приискал ей место служанки в одной хорошей семье. Священник добивался узнать имя благотворителя, но ему сказали, что имя должно остаться неизвестным, и лишь по смерти Паскаля сестра его разоблачила эту тайну.

Паскаля иногда упрекали в сухости, резонерстве и даже в бессердечии, ссылаясь на то, что он, по-видимому, не был сильно тронут даже смертью своей младшей сестры Жаклины, которую горячо любил. Жаклина умерла десятью месяцами раньше Паскаля, и кто знает, не ускорила ли ее смерть развязку его собственной болезни. Смерть Жаклины была следствием нервного потрясения, испытанного ею после того, как ее заставили подписать исповедание веры, противное ее совести. Это было в эпоху гонения, предпринятого иезуитами и двором на янсенистов, когда монахинь, подозреваемых в янсенизме, нередко изгоняли из монастырей по особому королевскому повелению. Когда Паскалю сообщили о смерти младшей сестры, он сказал только: “Дай Бог и нам умереть так же хорошо”. Когда старшая сестра при нем предавалась горю по случаю их общей потери, Паскаль сердился и говорил, что надо хвалить Бога за то, что он так хорошо вознаградил за малые услуги, ему оказанные. Этого, однако, едва ли достаточно для того, чтобы сделать вывод о бессердечии Паскаля. Паскаль, очевидно, прилагал усилия, чтобы подавить или, по крайней мере, изменить в себе все человеческие привязанности, дав им направление, согласное, по его мнению, с самой чистой христианской моралью. Есть факты, доказывающие, что такая внутренняя ломка обошлась самому Паскалю весьма дорого и что в нем иногда ошибались даже самые близкие к нему люди. Вот что пишет об этом его старшая сестра, говоря еще о том времени, когда была жива младшая, лучше всех знавшая брата и умевшая понимать его уже по чрезвычайной родственности его натуры с ее собственной: “Он не только сам не хотел быть привязанным к другим, – пишет Жильберта, – но не допускал и того, чтобы другие к нему привязывались. Не зная этого, я иногда изумлялась и говорила сестре, жалуясь, что брат

меня не любит и что, по-видимому, я причиняю ему неудовольствие, даже когда самым ласковым образом ухаживаю за ним во время его болезней. Сестра говорила мне, что я ошибаюсь, что она знает противное, что брат любит меня так сильно, как только я могу этого желать.

Вскоре я и сама в этом убеждалась, так как едва представлялся малейший случай, когда я нуждалась в какой-либо помощи брата, он спешил оказать ее с такою заботливостью и любовью, что не могло быть сомнения насчет его сильного чувства ко мне”.

Тем не менее отношения брата к окружающим часто казались сестре загадочными. Лишь по смерти Паскаля она разгадала тайну, когда прочла небольшую записку, написанную им для самого себя. Оказалось, что Паскаль добивался всеми силами того, чтобы никто не мог чувствовать к нему привязанности. “Не следует, – писал он, – чтобы кто-либо полюбил меня, хотя бы это было влечение вполне добровольное и приятное. Я обману ожидания тех, в ком явится подобное желание, так как я – конец личности и я не могу никого удовлетворить. Разве я не готов умереть? Итак, предмет их привязанности умрет. Было бы нечестно с моей стороны заставить поверить какой-либо лжи, хотя бы я убеждал кого-либо в этой лжи самым нежным образом и хотя бы мне поверили с удовольствием, и хотя бы я сам при этом испытал чувство удовольствия. Было бы нечестно поэтому, если бы я побудил кого-либо любить меня. Если я содействую тому, что люди ко мне привязываются, я должен предупредить тех, кто готов поверить этой лжи, чтобы они не верили мне. Вместо того, чтобы привязываться ко мне, пускай стараются угодить Богу”.

Кажется, в этой исповеди следует искать истинную психологическую разгадку тех отношений, которые установились в последние годы жизни Паскаля между ним и девицею Роанез, удалившейся в пор-рояльский женский монастырь. Паскаль оказал поистине роковое влияние на судьбу этой несчастной девушки.

Пока он был жив, сестра герцога Роанеза всецело подчинялась его руководству. К сожалению, не сохранилось ее писем к Паскалю; впрочем, они, вероятно, были написаны в том же благочестивом духе, который господствует в посланиях к ней Паскаля. Изображение истинных чувств Паскаля к этой аристократке следует искать не в письмах, а в “Мыслях” Паскаля. В одном месте “Мыслей” он говорит: “Одиноким человеком есть нечто несовершенное, он должен отыскать другого, чтобы быть вполне счастливым. Часто он ищет равного себе по положению. Но иногда бывает и так, что смотрят выше себя и чувствуют, что пламень разгорается, не смея сказать об этом той, которая возбудила его! Когда любишь женщину выше себя по положению, вначале к любви иногда присоединяется честолюбие; но вскоре любовь берет верх надо всем. Это тиран, который не терпит товарищей: он желает быть одним, все страсти должны ему подчиниться”.

Под влиянием Паскаля девица Роанез еще в 1657 году вступила в Пор-Рояль послушницей, убежав для этого тайком от матери. Она дала обет девства, но не успела постричься, потому что родственники ее добились кабинетского указа короля (*lettre de cachet*⁴), вынудившего девицу Роанез возвратиться к своей семье. Здесь она прожила до самой смерти Паскаля в уединении, чуждаясь света и переписываясь с Паскалем, его сестрами и аббатом Сенгленом, духовным руководителем Паскаля. По смерти Паскаля, в 1667 году, эта несчастная девушка решила наконец снять с себя обет девства и вышла замуж за герцога де Фейльад. Янсенисты предали ее анафеме; ее брак называли “падением”, и эта благородная женщина, нежная мать и образцовая жена стала жертвою фанатизма. Ее мучили вечные угрызения совести, и она сказала однажды, что предпочла бы быть парализованною больною в пор-рояльской больнице, чем жить в довольстве среди своей семьи. Из ее детей одни умерли в раннем детстве, другие были карликами или уродами. Единственный сын ее, доживший до преклонного возраста, не оставил потомства, и сама она умерла от рака груди. Можно смело сказать, что любовь Паскаля принесла ей одни

⁴ *lettre de cachet* – королевский указ об изгнании, о заточении без суда и следствия.

несчастья.

В последние годы своей жизни Паскаль удивлял всех своей незлобивостью, детской покорностью и необычайной кротостью. Задолго до Льва Толстого он осуждал всякое противление злу насилием. Отлично сознавая зло тогдашней политической системы, он, однако, резко осуждал фронду и говорил, что междоусобная война есть величайший грех, какой только можно совершить по отношению к ближним. Сам Паскаль обрисовал себя следующим образом: “Я люблю бедность, потому что ее любил Христос. Я люблю богатства, потому что они дают возможность помогать несчастным. Я верен всем. Я не воздаю злом за зло, но желаю всем такого состояния, каково мое, когда от людей не испытываешь ни зла, ни добра. Я стараюсь быть справедливым, искренним, я питаю нежные чувства к тем, кого Бог соединил со мною более тесным образом”.

Отличаясь природною живостью характера, Паскаль часто сердился и выражал нетерпение, но как только замечал это за собою, сразу становился кроток: “Это ребенок; он покорен, как дитя” – говорил о нем священник Берье. За два месяца до смерти Паскаль стал страдать совершенной потерей аппетита и почувствовал упадок сил. В это время у Паскаля поместился один бедный человек с женою и всем хозяйством. Паскаль дал этому человеку комнату и отопление, но не принимал ни от него, ни от его жены никаких услуг, а сделал это прямо из сострадания к бедному семейству. Когда родственники Паскаля выговаривали ему за такого рода благотворительность, он возражал: “Как же вы говорите, что я не пользуюсь никакими услугами этих людей. Мне было бы весьма неприятно оставаться совсем одному, а теперь я не один”.

Между тем сын принятого Паскалем человека заболел оспой. К Паскалю часто приходила его старшая сестра, так как, будучи болен, он не мог обойтись без ее услуг. Паскаль боялся, что сестра заразит своих детей оспою: так или иначе, ему надо было расстаться с принятою к себе в дом семьею. Но Паскаль не решился удалить больного мальчика и хотя сам был болен, рассуждал так: “Болезнь мальчика опаснее моей и я старше его, а потому легче вынесу перемену места”. 29 июня Паскаль оставил свой дом, чтобы более туда не возвращаться.

Он поселился в доме своей сестры на улице Сент-Этьен, в маленьком флигельке, где была комната с двумя закрытыми железной решеткой окнами.

Через три дня после этого переезда Паскаль почувствовал жестокие колики, лишившие его сна. Но, обладая поразительною силою воли, он выносил страдания безропотно, сам принимал лекарства и не позволял оказать себе ни малейшей лишней услуги. Врачи говорили, что пульс больного хорош, лихорадки нет, и ни малейшей опасности, по словам их, не было. Однако на четвертый день колики до того усилились, что Паскаль велел послать за священником и исповедался. Слух об этом вскоре распространился между его друзьями, и многие явились посетить больного. Даже врачи наконец переполошились, и один из них сказал, что не ожидал от Паскаля такой мнительности. Это замечание рассердило Паскаля. “Я хотел причаститься, – сказал он, – но вас удивило, что я исповедался. Боюсь удивить вас еще более и лучше отложу”.

Врачи продолжали настаивать, что болезнь не опасна. И действительно наступило как бы временное облегчение, так что Паскаль стал немного ходить. Тем не менее Паскаль сознавал опасность и исповедовался несколько раз. Он написал духовное завещание, в котором большую часть имущества завещал бедным.

– Будь твой муж в Париже, – сказал он сестре, – я завещал бы бедным все, так как уверен в его согласии. Затем, подумав, прибавил: “Откуда происходит, что я никогда ничего не сделал для бедных, хотя всегда любил их?”

Сестра возразила:

– Но у тебя никогда не было большого состояния, и не из чего было давать.

– Нет, – сказал Паскаль, – если у меня не было состояния, я должен был отдавать свое время и труд, а я не делал этого. Если врачи правы и я оправлюсь от этой болезни, я твердо решился посвятить весь остаток моей жизни бедным.

Знакомые Паскаля удивлялись терпению, с которым он выносил жесточайшие боли.

– Я боюсь выздороветь, – отвечал на это Паскаль, – потому что знаю опасности здоровья и преимущества болезни.

Когда его жалели, Паскаль возражал:

– Не жалейте, болезнь есть естественное состояние христианина, потому что он должен страдать, должен лишать себя всяких благ и чувственных удовольствий.

Врачи велели Паскалю пить минеральные воды, но 14 августа он почувствовал жесточайшую головную боль и решительно потребовал священника.

– Моей болезни никто не видит, – сказал он, – а потому все обманываются: моя головная боль представляет нечто необыкновенное.

Это была чуть ли не первая его жалоба на свои страдания; но врачи возражали, что головная боль происходит “от паров воды” и что это скоро пройдет. Тогда Паскаль сказал:

– Если мне не хотят оказать этой милости и причастить меня, я заменю причастие каким-либо добрым делом. Я прошу вас отыскать какого-нибудь бедного больного и нарочно нанять для него за мой счет сиделку, которая ухаживала бы за ним точно так же, как за мной. Я хочу, чтоб между им и мною не было ни малейшей разницы, потому что когда я подумаю о том, что за мною так ухаживают и что есть множество бедных, более страдающих, чем я, и нуждающихся в самом необходимом, эта мысль заставляет меня страдать невыносимо.

Сестра Паскаля тотчас послала к священнику, спрашивая, нет ли какого-нибудь больного, которого можно было бы принести? Такого не нашлось; тогда Паскаль потребовал, чтобы его самого понесли в больницу неизлечимо больных.

– Я хочу умереть среди больных, – сказал он.

Сестра возразила, что врачи воспротивятся его желанию; это чрезвычайно рассердило Паскаля. Больного только успокоили обещанием, что его перенесут, когда ему станет немного легче.

Между тем головная боль причиняла Паскалю адские муки. 17 августа он попросил собрать консилиум врачей, но прибавил:

– Боюсь, что я слишком затрудняю этой просьбой.

Врачи велели больному пить сыворотку, утверждая, что его болезнь есть “мигрень, соединенная с сильными парами воды”.

Но Паскаль не поверил, и даже сестра увидела, что брату очень худо. Не говоря ему ни слова, она послала за свечами и всем, что требуется для причастия и соборования.

Около полуночи с Паскалем сделались конвульсии; когда они прекратились, он лежал как мертвый. В это время явился священник, который, входя в комнату, громко воскликнул: “Вот тот, кого вы так желали”. Это восклицание привело Паскаля в сознание; он сделал усилие и привстал. Причащаясь, он обливался слезами. Последние слова Паскаля были: “Пусть Бог никогда меня не оставляет”.

Конвульсии возобновились, он потерял сознание и после суточной агонии умер 19 августа 1662 года, тридцати девяти лет от роду.

Вскрытие тела Паскаля показало поражение оболочек мозга и органов пищеварения. Внутренности были поражены гангренозным воспалением. Череп оказался почти без всяких швов, кроме стрелочного шва: это состояние черепа, вероятно, и было причиной постоянных головных болей, которыми Паскаль страдал с восемнадцатилетнего возраста. На темени был род костяного нароста, от венечного шва не осталось и следа. Мозг был чрезвычайно велик, весьма тяжел и плотен. На внутренней стороне черепа, против мозговых желудочков, были два углубления, как бы отпечатки пальцев, наполненные створоженной кровью и гнойной материей. В твердой оболочке мозга началось гангренозное воспаление.

Паскаль был погребен в церкви св. Этьена. Госпожа Жанлис в своих мемуарах уверяет, что герцог Орлеанский, нуждаясь в скелете для своих алхимических опытов, велел вырыть кости Паскаля. Эту басню повторил Мишле в своей “Истории революции”, но, как теперь вполне доказано, она составляет плод фантазии остроумной писательницы.

ГЛАВА X. ИСТОЧНИКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Философия Паскаля

Паскаль не оставил после себя ни одного цельного философского трактата, тем не менее в истории философии он занимает вполне определенное место. Его мирозерцание, кажется, всего точнее может быть определено как *христианский скептицизм*. В истории христианства Паскаль играет такую же роль, как автор “Екклесиаста” в истории иудейства и Пиррон в истории классического мира.

Во всем, что касается христианского учения, Паскаль – искренно и безусловно верующий. Он не допускает ни малейших сомнений ни относительно догмы, ни касательно чудес и других внешних проявлений христианства. В остальном он полный скептик. Паскаль готов сомневаться и в силе человеческого разума, и в значении материальных благ, и в достоинстве человеческих учреждений.

“Мысли” Паскаля часто сопоставляли с “Опытами” Монтеня и с философскими сочинениями Декарта. У Монтеня Паскаль заимствовал несколько мыслей, передав их по-своему и выразив их своим сжатым, отрывочным, но в то же время образным и пламенным слогом; с Декартом Паскаль согласен лишь по вопросу об автоматизме да еще в том, что признает, подобно Декарту, наше сознание непреложным доказательством нашего существования. Но исходная точка Паскаля и в этих случаях отличается от декартовской. “Я мыслю, стало быть – существую”, – говорит Декарт. “Я сочувствую ближним, стало быть, я существую, и не только материально, но и духовно”, – говорит Паскаль, у Декарта божество есть не более как внешняя сила; для Паскаля божество есть начало любви, в одно и то же время внешнее и присутствующее в нас. Паскаль насмехался над декартовским понятием о божестве не в меньшей мере, чем над его “тончайшей материей”. “Не могу простить Декарту, – говорил Паскаль, – что, признавая божественное начало, он в то же время прекрасно обходится без этого начала. Декарт призывает божество лишь для того, чтобы дать толчок мировому порядку, и затем прячет его неизвестно куда”.

Скептицизм Паскаля коренится прежде всего в его воззрениях на ничтожество умственных и физических сил человека. Приводимые им аргументы представляют странную смесь опоэтизированных математических определений с библейскими и классическими образами и сравнениями. Философ постоянно призывает на помощь геометра, богослова и даже поэта.

Математические образы господствуют над умом Паскаля. Желает ли он изобразить необъятность вселенной, – он, повторяя мысли средневековых писателей, выражает их в сжатой и сильной геометрической форме: вселенная есть “бесконечный шар, центр которого везде, а окружность – нигде”. Стараются ли он доказать ничтожество человеческой жизни и убедить нас, что для него совершенно безразлично, продлится ли наша жизнь на десять лет более или нет, – он поясняет свою мысль в строго математической форме: “В виду бесконечных величин, все конечные равны между собой”. Хочет ли он убедить нас в необходимости веры в божество, – Паскаль прибегает к своей теории вероятностей, оценивает разные гипотезы точно так же, как игрок оценивает партию”.

Паскаль предлагает нам биться об заклад и говорит, что утверждающий существование божественного начала смело может поставить на карту все, так как во всяком случае ничего не проиграет и все выиграет.

Даже при описании атрибутов божества Паскаль, хотя и утверждает их непостижимость, пытается дать математические сравнения. Так, например, чтобы доказать возможность вездесущего существа, он говорит: представьте себе точку, движущуюся с бесконечною скоростью. В XI главе “Мыслей” Паскаль следующим образом выражается о непознаваемости божества:

“Единица, прибавленная к бесконечности, нисколько ее не увеличивает. Конечное уничтожается в присутствии бесконечного и становится чистым ничтожеством. Так и наш ум

перед божественной справедливостью. Мы знаем, что *есть* бесконечное, но не знаем его природы. Мы знаем, что ложно утверждение, будто ряд чисел конечен. Стало быть, есть бесконечное число; но мы не знаем, какое это число. Оно не может быть ни четным, ни нечетным, так как, присоединяя к нему единицу, мы не изменяем его природы”. “Мы познаем не только существование, но и природу конечного, так как мы сами конечны и протяженны. Мы знаем существование бесконечного, но не его природу, потому что, имея, подобно нам, протяжение, оно не имеет границ. Но мы не можем познать разумом ни существования, ни природы божества, потому что оно не имеет ни протяжения, ни границ”.

Таким образом, задолго до Канта Паскаль понял невозможность доказать существование божества какими бы то ни было физическими или метафизическими аргументами. Но в то время как Кант искал недостающих доказательств в области нравственной, Паскаль полагал, что единственное возможное доказательство дает вера. “Мы знаем существование божества посредством веры, – говорит Паскаль, – а природу его – посредством его славы”, выражающей себя в жизни праведников. Конечно, и тут есть моральное начало, но оно играет у Паскаля далеко не первую и не исключительную роль.

Ссылаясь на св. Павла, Паскаль говорит, что христиан нельзя упрекать в том, что они не могут дать в пользу своей веры никаких *разумных* доводов. Ведь христиане, говорит Паскаль, сами заявляют, что верят в вещи, которые могут показаться нелепостью (*stultitia*,⁵ I Посл. св. Павла к Коринф., гл. I).

По словам Паскаля, каждый человек вынужден избрать одну из гипотез: либо есть божественное начало, либо его нет. “Надо биться об заклад, – говорит он. – Это не зависит от вашей воли, вы вынуждены делать выбор. Если надо выбирать, посмотрим, что вас менее интересует. Вы можете проиграть две вещи: истину и добро (если божества нет). Взвесим потерю и прибыль”. И затем Паскаль пытается доказать, что ввиду возможности бесконечно большой прибыли можно смело поставить на карту все”.

Но как поступить, если разум отказывается подчиниться вере?

Лев Толстой дал бы нам совет “опроститься”; Паскаль раньше его дал подобный же совет, но выразился гораздо искреннее, смелее и энергичнее. Паскаль советует нам поглупеть (*abvuir*), что, конечно, нельзя понимать в буквальном смысле, как сделал французский философ Кузен, который с видом умного человека прочел Паскалю за этот совет весьма строгий выговор. Паскаль, очевидно, желает показать своим советом, что, по его мнению, область веры должна быть совершенно отделена от области разума, который – так думает Паскаль – вторгается в области, совершенно ему не свойственные. Ни Давид, ни Соломон, по словам Паскаля, не рассуждали таким образом: “Пустота существует, стало быть, есть Бог”. Физика и даже математика бессильны в вопросах веры. “Вместо искания новых доказательств существования божества, – пишет Паскаль, – работайте над уменьшением ваших страстей”. С этой целью Паскаль советует даже подчинить себя внешней дисциплине, например, строго соблюдать обряды, что он делал и сам в конце своей жизни. “Разумеется, это заставит вас поглупеть”, – говорит Паскаль. – “Но я этого и боюсь”, – скажете вы. – “Почему? – спрашивает Паскаль. – Что вы потеряете? Вы станете честным, верным, благотворительным, благодарным, искренним, правдивым”.

Таким образом, в области положительной Паскаль не мог придумать ничего, кроме подчинения разума вере и обуздания страстей. Но таков уж неизбежный результат всякого мистицизма.

Что касается скептического отношения Паскаля ко всему стоящему вне предметов веры, оно в высшей степени замечательно как критика человеческого разума и всех человеческих дел. Все ему кажется суетным и ничтожным, все, кроме человеческой мысли, поскольку она является отражением божества. “Пусть, – говорит он, – человек созерцает природу во всем ее возвышенном и полном величии. Пусть он удалит свои взоры от

⁵ глупостью (лат.).

окружающих его низких предметов, пусть взглянет на это ослепительное светило, поставленное как вечный светоч, для освещения вселенной; пусть земля представится ему точкой... Наш взор останавливается, но воображение идет далее. Весь этот видимый мир есть лишь незаметная черточка на пышном лоне природы... Что такое человек в природе? Ничто по сравнению с бесконечным, все по сравнению с ничтожно-малым: среднее между ничем и всем”.

Иногда суждения Паскаля о человеческом ничтожестве блещут горьким юмором, напоминающим Шопенгауэра.

Все, чем люди наслаждаются, все, что составляет их гордость, будит честолюбие и ненасытные стремления – все это, говорит Паскаль, не более как плод нашего воображения. Без помощи удивительной способности к самообольщению и к одурачиванию других людей никакие богатства земли не доставили бы ни славы, ни видимого благополучия.

“Наши судьи, – говорит Паскаль, – отлично поняли этот секрет. Их красные мантии, их горностаи, палаты, в которых они судят, вся эта торжественная внешность была крайне необходима. Если бы у лекарей не было мантий и у докторов их четырехугольных колпаков, они не могли бы так дурачить людей, как они теперь это делают... Наши короли не надевают слишком пышных одежд, но за ними следует стража с алебардами; все эти трубы и барабаны, войска, окружающие их, – все это приводит в трепет даже храброго. Надо иметь слишком очищенный разум, чтобы считать таким же человеком, как все, великого падишаха, окруженного сорока тысячами янычар... Если бы врачи действительно умели лечить, они не нуждались бы в колпаках: величие науки было бы само по себе достойно уважения”.

Не менее скептически относится Паскаль ко всевозможным человеческим профессиям. “Случай, – говорит он, – делает людей каменщиками, воинами, кровельщиками. Военные говорят: только война настоящее дело, все штатские – бездельники... Привычка побеждает природу... Иногда, однако, природа берет верх, и вместо солдата или каменщика мы видим просто человека”.

Точно так же ничтожны и нелепы, по мнению Паскаля, все привычки, обычаи и прочие различия, создаваемые климатом, политическими границами, эпохой. В рассуждениях Паскаля по этому поводу мы уже видим предвестие философских учений XVIII века, он иногда говорит почти языком Руссо. “Вместо постоянного и прочного начала справедливости, – говорит Паскаль, – мы видим фантазии и капризы персов и немцев”. “Три градуса широты опрокидывают всю юриспруденцию, меридиан решает сущность истины; вступление Сатурна в созвездие Льва обозначает начало такого-то преступления. Хороша справедливость, ограниченная рекой! Истина по эту сторону Пиренеев, ложь – по ту сторону”.

Разбойник, прелюбодей, отцеубийца – все в свое время и в своем месте считались людьми добродетельными. Может ли быть что-либо нелепее того, что другой человек имеет право убить меня, потому что он живет по ту сторону реки и потому что его князь поссорился с моим, хотя у меня с ним самим нет никакой ссоры? Без сомнения, существуют естественные законы; но наш прекрасный извращенный разум испортил все. А между тем как бессилен этот разум! Не надо пушечного выстрела для того, чтобы прервать ход наших мыслей, достаточно шума точильного колеса. Не удивляйтесь тому, что этот человек плохо рассуждает: муха жужжит над его ухом. Хорош владыка вселенной! О, комичнейший герой!

Что такое человеческие удовольствия? Причины новых несчастий, новых страданий. “Когда я, – говорит Паскаль, – размышляю иной раз о тревогах людей, об опасностях и несчастиях, которым они себя подвергают, я часто говорю, что все человеческие бедствия происходят от одной вещи, а именно от того, что люди не умеют спокойно сидеть в комнате. Человек, имеющий достаточно, чтобы прожить, умей он оставаться у себя дома, не отправился бы на море или на войну. Но когда я, найдя источник наших несчастий, пытался открыть причину, почему люди подвергают себя всем этим бедствиям, я увидел, что тут есть и некоторое действительное благо... Вообразим себе самое лучшее положение, например положение короля. Если у него нет развлечений и разнообразия, самая благополучная с

нашей точки зрения жизнь скоро ему опротивеет. Он будет думать о заговорах, восстаниях, о смерти и в конце концов станет несчастнее последнего из своих подданных, имеющего возможность разнообразить свою жизнь. Отсюда всеобщая страсть к развлечениям. Вот почему ищут игры, женщин, войны, крупные должности. Ни один охотник не охотится за зайцем ради зайца. Если бы ему дали этого зайца даром, он не взял бы его. Люди ищут шума и возни, отвлекающей их от мыслей о ничтожестве нашего существования. Вся жизнь проходит таким образом: мы ищем покоя, преодолевая препятствия, но как только преодолели их, покой становится для нас невыносим. Человек так несчастен, что скучает даже без всякой причины, просто по своей комплекции, и он так тщеславен и мелочен, что, когда есть тысячи причин скуки и тоски, какой-нибудь пустяк вроде бильярдного шара может развлечь его. Ведь он завтра будет хвастать в обществе друзей, что играл лучше своего противника. Что значит быть канцлером, министром и т. п.? Это значит быть в таком положении, когда с утра до вечера в передней и в кабинете толкуются толпы людей, препятствующие счастливцу думать о самом себе. Пусть он выйдет в отставку, сохранив все свои богатства или даже получив более прежнего, он будет несчастным и покинутым, потому что никто теперь не мешает ему думать о самом себе”.

В конце концов, что такое человек? Мы не знаем, ни что такое тело, ни что такое дух; еще менее мы знаем, каким образом дух может сочетаться с телом. Что же такое человек – этот судья всех вещей, глупый земной червь, сосуд истины, клоака заблуждений, слава и позор вселенной? Ни ангел, ни животное... Вся жизнь, вся философия зависят от вопроса: смертна ли наша душа или бессмертна? “Можно, – говорит Паскаль, – не развивать систему Коперника, но вопрос о бессмертии души непременно должен быть решен в том или другом смысле”. А между тем есть философы, строящие свои системы совершенно независимо от этого вопроса. Поразительно, говорит Паскаль, до чего доходит равнодушие многих людей в этом случае. “Мы подобны путешественникам на пустынном острове или же обремененным цепями преступникам, которые ежедневно с полным равнодушием смотрят на то, как убивают одного из их товарищей, зная, что придет и их черед. Что подумать о приговоренном к смерти, который, располагая лишь часом для подачи просьбы о помиловании и зная, что он наверное может добиться помилования, проведет этот час за игрою в пикет? Вот наш портрет. Кто может вывести нас из этого хаоса? Ни скептики, ни философы, ни догматики ничего не могли сделать. Скептик не может сомневаться во всем, например, когда его колют или обжигают; наконец, он не может сомневаться в своем сомнении. Догматик строит башню до небес, но она обрушивается, и под ногами разверзается бездна. Разум, стало быть, бессилен. Только сердце, только вера и любовь могут вывести нас из этой пучины”.

Такова, в общих чертах, красноречивая аргументация Паскаля, приведшая его от скептицизма к вере.

Здесь не место разбирать учение Паскаля. Достаточно заметить, что все те проявления любви к ближнему, о которых говорит Паскаль, нимало не противоречат велениям разума и нисколько не исключают разума. Нет никакой необходимости последовать совету Паскаля и “поглупеть”, подвергнув себя рекомендуемой им дисциплине, для того чтобы иметь возможность быть честным, правдивым, искренним и благотворительным. Напротив того, разум дает более правильное применение высоким нравственным качествам. Если даже вслед за Паскалем признать бессилие разума и считать нашу умственную деятельность столь же автоматичною, как передвижение колес в арифметической машине Паскаля, то и это нимало не служит доказательством несовместимости разума с *моральною* стороною христианского учения. Что же касается той стороны, которая так привлекла Паскаля особенно со времени уверования им в чудо “святого терния”, то именно о ней следует сказать, что она связана с вопросами нравственности лишь случайным и внешним образом: поэтому можно быть весьма различных мнений по этому рода вопросам и держаться совершенно одинаковых взглядов относительно человеческой морали.

За Паскалем история философии должна, однако, признать ту заслугу, что он поставил

вопросы прямее, искреннее и талантливее, чем большинство писавших в том же духе; что у него слово не расходилось с делом и вся его жизнь была точным воплощением его идей. Если у него были слабости и заблуждения, то он искупил их годами тяжелых нравственных и физических страданий. Беспощадный обличитель иезуитского лицемерия и фарисейства, он одним этим заслужил место в истории человеческого развития, не говоря уже о его гениальных научных трудах.

ИСТОЧНИКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Лучшие издания сочинений Паскаля: *Bossut* и *Charpentier*.

Из старинных авторов писали о Паскале: *Лейбниц* (во многих мелких сочинениях и письмах), *Кондорсе* (Eloge de Pascal), *Вольтер* (Remarques sur les Pensées de Pascal), *Шатобриан* (Génie du Christianisme, III) и многие другие.

Cousin. Des Pensées de Pascal, 1843. Jacqueline Pascal, 1845.

Demoulin. Eloge de Pascal, 1842.

Faugure. Eloge de Pascal, 1842.

Vinet. Etudes sur Pascal, 1844–1847.

Maynard, abbé. Pascal, 1850. 2 col.

Sainte Beuve. Port-Royal. Весьма важное сочинение, характеризующее не только Паскаля, но всю его эпоху.

Havet. Etudes sur les Pensées de Pascal, 1852.

Nourrisson. Pascal physicien et philosophe, 1888.

Немецкие и английские сочинения о Паскале не имеют самостоятельного значения, а в русской литературе Паскалю не посвящено ни одного сколько-нибудь важного исследования или даже обширной журнальной статьи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛЕВ ТОЛСТОЙ. " ПАСКАЛЬ "

Ни одна страсть не удерживает людей так долго в своей власти, не скрывает от них так прочно, иногда до самого конца, тщету временной мирской жизни и ни одна не отдаляет так людей от понимания смысла человеческой жизни и ее истинного блага, как страсть славы людской, в какой бы форме она ни проявлялась: мелочного тщеславия, честолюбия, славолюбия.

Всякая похоть носит в себе свое наказание, и страдания, которые сопутствуют ее удовлетворению, обличают ее ничтожество. Кроме того, всякая похоть ослабевает с годами, славолюбие же с годами все больше и больше разгорается. Главное же то, что забота о славе людской всегда соединяется с мыслью о служении людям, и человеку легко обманываться, когда он ищет одобрения людей, что он живет не для себя, а для блага тех людей, одобрения которых он добивается. И потому это самая коварная и опасная страсть и труднее всех других искореняемая. Освобождаются от этой страсти только люди с большими душевными силами.

Большие душевные силы дают этим людям возможность быстро достигнуть большей славы, и эти же душевные силы дают им возможность увидеть ничтожество ее.

Таким человеком был Паскаль. Таким же был близкий нам русский человек Гоголь (я по Гоголю, думаю, понял Паскаля). И тот и другой, хотя с совсем различными свойствами и с совершенно различным складом и размером ума, пережили одно и то же. Оба очень скоро достигли той славы, которой страстно желали; и оба, достигнув ее, тотчас же поняли всю тщету того, что казалось им самым высоким, самым драгоценным в мире благом, и оба ужаснулись тому соблазну, во власти которого находились. Они все силы души положили на то, чтобы показать людям весь ужас того заблуждения, из которого они только что вышли, и чем сильнее было разочарование, тем настоятельнее представлялась им необходимость такой

цели, такого назначения жизни, которое ничем не могло бы быть нарушено.

В этом причина того страстного отношения к вере как нашего Гоголя, так и Паскаля; в этом же и причина пренебрежения их ко всему сделанному ими прежде. Ведь все это делалось для славы. А слава прошла, и в ней ничего не было, кроме обмана. Стало быть, не нужно и ничтожно было все то, что делалось для ее приобретения. Важно одно, только одно: то, чего не было, то, что было заслонено мирскими желаниями славы. Важно и нужно было одно: та вера, которая дает смысл этой преходящей жизни и твердое направление всей ее деятельности. И это сознание необходимости веры и невозможности жить без нее так поражает таких людей, что они не могут не удивляться на то, как могли они сами, как могут вообще люди жить без веры, объясняющей им смысл их жизни и ожидающей их смерти.

Таким человеком был Паскаль, и в этом его великая, неоценимая и далеко неоцененная заслуга.

Паскаль родился в Клермоне в 1623 году. Отец его был известный математик. Мальчик, как и все дети, подражая отцу с первого детства, занялся математикой, и у него обнаружились необыкновенные способности. Отец, не желая преждевременно развивать ребенка, не давал ему математических книг; но мальчик, слушая разговоры отца с его знакомыми математиками, сам стал вновь выдумывать геометрию. Отец, увидав эти необыкновенные для ребенка работы, был так поражен этим, что пришел в восхищение, расплакался от умиления и с тех пор сам стал преподавать сыну математику. Мальчик скоро не только усвоил все то, что открыл ему отец, но стал делать сам математические открытия. Успехи его обратили на себя внимание не только близких, но и ученых, и Паскаль очень молодым приобрел известность замечательного математика. Слава выдающегося, несмотря на молодые годы, ученого поощряла его к занятиям, большие способности давали ему возможность увеличивать славу, и Паскаль все свое время и силы посвятил научным занятиям и исследованиям. Но здоровье его с детства было слабое, усиленные же занятия еще более ослабили его, и в юношеском возрасте он тяжело заболел. После болезни он, по просьбе отца, сократил свои занятия до двух часов в день, свободное же время употреблял на чтение философских сочинений.

Он прочел Эпиктета, Декарта и “Опыты” Монтеня. Книга Монтеня особенно поразила его – она возмутила его своим скептицизмом и равнодушием к религии. Паскаль всегда был религиозен и по-детски верил тому католическому учению, в котором был воспитан. Книга Монтеня, вызвав в нем сомнения, заставила его задуматься над вопросами веры, в особенности же о том, насколько необходима вера для разумной жизни человека, и он стал еще строже к себе в исполнении религиозных обязанностей и кроме философских сочинений стал читать книги религиозного содержания. В числе этих книг ему попала книга голландского теолога Янсена “Преобразования внутреннего человека”.

В книге этой было рассуждение о том, что кроме похоти плоти есть еще и похоть духа, состоящая в удовлетворении человеческой пытливости, в основе которой лежит то же, что и во всякой похоти: эгоизм и самолюбие, и что такая утонченная похоть более всего другого удаляет человека от Бога. Книга эта сильно поразила Паскаля. Со свойственной великим душам правдивостью он почувствовал истинность этого рассуждения по отношению к себе, и несмотря на то, что отказаться от занятий наукой и от связанной с нею славы было для него великим лишением, или именно потому, что это было для него великим лишением, он решил оставить соблазнявшие его занятия наукой и все свои силы направил на разъяснение для себя и для других тех вопросов веры, которые все сильнее и сильнее занимали его.

Ничего неизвестно об отношении Паскаля к женщинам и какое влияние имели на его жизнь соблазны женской любви. Биографы его на основании его небольшого сочинения “Discours sur les passions de L'amour”,⁶ в котором он говорит, что величайшее счастье, доступное человеку, – любовь – есть чувство чистое, духовное и должно служить

⁶ “Рассуждения о страданиях любви” (фр.).

источником всего возвышенного и благородного, делают заключение, что Паскаль в своей молодости был влюблен в женщину, стоявшую выше его по положению и не отвечавшую его любви. Во всяком случае, если и была такая любовь, она не имела никаких последствий для жизни Паскаля. Главные интересы его молодой жизни заключались в борьбе между его стремлениями к занятиям наукой и к славе, которую они давали ему, и сознанием пустоты, ничтожества этих занятий и зловредности соблазна славолюбия и желанием все свои силы посвятить только служению Богу.

Так, уже в тот период его жизни, когда он решил отказаться от занятий наукой, ему случилось прочесть исследования Торичелли о пустоте. Чувствуя, что вопрос этот решается неверно и что возможно более точное определение, Паскаль не мог удержаться от желания проверить эти опыты. Проверая же их, он сделал свое знаменитое открытие о тяжести воздуха. Открытие это обратило на него внимание всего ученого мира. Ему писали, его посещали ученые и восхваляли его. И борьба с соблазном славы людской стала еще труднее.

Для борьбы этой Паскаль носил на теле пояс с гвоздями, обращенными к телу, и всякий раз, как ему казалось, что при чтении или выслушивании себе похвал в нем поднимается чувство честолюбия, гордости, он прижимал пояс локтем к боку, гвозди кололи его тело, и он вспоминал весь тот ход мыслей и чувств, которые отвлекали его от соблазна славы.

В 1651 году с Паскалем случилось событие, казалось бы, неважное, но сильно поразившее его и имевшее большое влияние на его душевное состояние. На мосту Нельи он упал из экипажа и был на волоске от смерти. В это же время умер отец Паскаля.

Это двойное напоминание о смерти заставило Паскаля еще больше, чем прежде, углубиться в вопросы жизни и смерти.

Религиозное настроение все более и более захватывало жизнь Паскаля, так что в 1655 году он совершенно удалился от мира. Он переехал в янсенистскую общину Пор-Рояля и стал жить там жизнью почти монашеской, обдумывая и приготавливая то большое сочинение, в котором он хотел показать, во-первых, истинность той религии, которую он сам исповедовал. Но и здесь соблазны славы людской не оставили Паскаля.

Янсенистская община Пор-Рояля, в которой жил Паскаль, вызвала к себе враждебность могущественного ордена иезуитов, и происки иезуитов сделали то, что существовавшие при Пор-Рояле школы мужская и женская были закрыты, и самому монастырю Пор-Рояля угрожала опасность быть закрытым.

Живя среди янсенистов и разделяя их учение, Паскаль не мог оставаться равнодушным к положению своих единоверцев и, увлекшись их спором с иезуитами, написал в защиту янсенистов книгу, которую он назвал “Письмами провинциала”. В сочинении этом Паскаль не столько оправдывал и защищал учение янсенистов, сколько осуждал врагов их – иезуитов, обличая безнравственность их учения. Книга имела большой успех, но слава эта уже не могла соблазнить Паскаля.

Вся жизнь его была уже непрерывающим служением Богу.

Он установил себе правила жизни и строго следовал им, не уклоняясь от них ни по лени, ни по болезни. Бедность он считал основанием добродетели. “В бедности и нищете, – говорил он, – не только нет зла, но в них наше благо. Христос был беден и нищ и не имел, где главу преклонить”. Отдавая все, что мог, бедным, Паскаль жил так, что у него было лишь необходимое; он обходился по возможности без прислуги, допуская ее, только когда он по болезни не мог двигаться. Жилище его было самое простое, как и пища и одежда. Он сам убирал свои комнаты и приносил себе обед. Болезнь его все усиливалась, и он не переставал страдать. Но страдания свои он переносил не только с терпением, удивлявшим его близких, но даже с радостью и благодарностью. “Не жалейте, – говорил он тем, которые соболезновали его положению, – болезнь есть естественное состояние христианина, потому что в этом положении христианин бывает таким, каким должен быть всегда. Она приучает к лишению всяких благ и чувственных удовольствий, приучает удерживаться от страстей, которые всю жизнь обуревают человека, быть без честолюбия, без жадности, быть всегда в ожидании смерти”.

Та роскошь, которой пытались окружить его любящие его родные, тяготила его. Он просил сестру перевести его в больницу для неизлечимых бедных, чтобы провести с ними последние дни *своей* жизни, но сестра не исполнила его желания, и он умер у себя.

Последние часы он был без сознания. Только перед самым концом он приподнялся с постели и с ясным и радостным выражением сказал: “Не оставь меня, Господи”. Это были его последние слова.

Он скончался 19 августа 1662 года.

Человеку для его блага нужны две веры: одно – верить, что *есть* объяснение смысла жизни, и другое – *найти* это наилучшее объяснение жизни.

Паскаль сделал, как никто, первое дело. Судьба, Бог не дали ему сделать второго.

Как человек, умирающий от жажды, набрасывается на ту воду, которая есть перед ним, не разбирая ее качества, так Паскаль, не разбирая качества того католицизма, в котором он был воспитан, видел в нем истину и спасение людей. Довольно, что вода, довольно, что вера.

Само собою разумеется, что никто не имеет права гадать о том, что могло бы быть, но нельзя себе представить гениального, правдивого перед самим собой Паскаля, верующего в католичество. Он не успел подвергнуть его той силе мысли, которую он направил на доказательство необходимости веры, и потому в душе его догматический католицизм остался целым. Он, не трогая его, опирался на него. Опирался на то, что было и есть в нем истинного. Он взял из него напряженную работу самосовершенствования, борьбу с соблазнами, отвращение к богатству и твердую веру в милосердного Бога, Которому Он отдавал, умирая, свою душу.

Он умер, сделав только одну часть работы, – не доделав, даже не начав делать другую. Но оттого, что не сделана эта вторая часть работы, не менее драгоценна первая: удивительная книга “Мыслей”, собранная из разрозненных клочков бумаги, на которых больной, умирающий Паскаль записывал свои мысли.

Удивительна судьба этой книги.

Является пророческая книга – толпа стоит в недоумении, пораженная силой пророческого слова, встревожена, хочет понять и уяснить, узнать, что делать. И вот приходит один из тех людей, которые, как говорил Паскаль, думают, что знают, и поэтому мутят мир; приходят эти люди и говорят: “Тут нечего понимать и уяснять, все это очень просто. Этот Паскаль (то же самое было с Гоголем), как вы видите, верил в Троицу, в причастие; ясно, что он был больной, ненормальный и потому по своей слабости и болезни все понимал наизусть. Лучшее доказательство этого то, что он отверг, отрекся даже от того хорошего, что сам сделал и

что нам нравится (потому что мы это понимаем), и приписывал большую важность совершенно бесполезным “мистическим” рассуждениям о судьбе человека, о будущей жизни. Поэтому надо брать из него не то, что он сам считал важным, а то, что мы можем понять и что нам нравится”.

И толпа рада: то она не понимала, ей надо было усилие, чтобы подняться до той высоты, на которую ее хотел поднять Паскаль, а тут все совершенно просто. Паскаль открыл закон, по которому делают насосы. Насосы очень полезны, и это очень хорошо; а все то, что он там говорит о Боге, бессмертии, все это пустяки, потому что он верил в Троицу, Библию. Нам не нужно усилия, чтобы подниматься до него; напротив, мы с высоты своей нормальности можем покровительственно и снисходительно признавать его заслуги, несмотря на его ненормальность.

Паскаль показывает людям, что люди без религии – или животные, или сумасшедшие, и тыкает их носом в их безобразия и безумия, показывает им, что никакая наука не может заменить религию. Но Паскаль верил в Бога, в Троицу, в Библию, и потому для них дело решенное, что и то, что он им говорил о безумии их жизни и тщете науки, – неправда. Та самая наука, та самая суэта жизни, то самое безумие, которое так неотразимо выяснено им, эта самая суэта, эта самая наука, это самое безумие они считают настоящей жизнью, истиной, а рассуждения Паскаля считают плодом его болезненной ненормальности. Им

нельзя не признать силы мысли и слова этого человека, и они причисляют его к классикам, но содержание его книги не нужно им. Им кажется, что они стоят неизмеримо выше того высшего душевного состояния религиозного сознания, до которого только может достигнуть человек и на котором стоит Паскаль, и потому значение удивительной книги безнадежно скрыто от них.

Да, ничто так не зловредно, не пагубно для истинного прогресса человечества, как эти ловко обставленные всякого рода современными украшениями рассуждения людей qui stoient savoir (которые думают, что знают) и которые, по мнению Паскаля, bouleversent le monde (мутят мир).

Но свет и во тьме светит, и есть люди, которые, не разделяя веры Паскаля в католичество, но понимая то, что он, несмотря на свой великий ум, мог верить в католичество (предпочитая верить в него, чем ни во что не верить), понимают и все значение его удивительной книги, неотразимо доказывающей людям необходимость веры, невозможность человеческой жизни без веры, т. е. без определенного, твердого отношения человека к миру и Началу его.

И поняв это, люди не могут не найти и тех, соответствующих степени их нравственного и умственного развития, ответов веры на вопросы, поставленные Паскалем.

В этом его великая заслуга.

ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ. ЧТО СДЕЛАЛ ПАСКАЛЬ?

1

Чудо Св. Терна внушило Паскалю замысел того великого дела, которому решил он посвятить весь уже недолгий, как он предчувствовал, остаток жизни. Дело это он сам называет “Защитой христианства”, *Апологией*, а люди назовут его *Мыслями*.

После чуда он придумал изображение для своей печати: два человеческих глаза, окруженных терновым венцом, с надписью – “*Scio cui credidi*. Знаю, кому верю”. Смысл изображения тот, что мучившая его всю жизнь Борьба Веры и Знания кончилась: эти два противоположных начала соединились в третьем высшем – в Любви. Главным источником *Мыслей* и будет это соединение.

В 1659 году, за три года до смерти, Паскаль в обществе друзей своих, вероятно, “господ Пор-Руаяля”, изложил замысел *Апологии*. Речь его длилась два-три часа. “Все присутствовавшие на этом собрании говорили, что никогда не слышали ничего более прекрасного, сильного, трогательного и убедительного”, – вспоминает один из слушателей, племянник Паскаля Этьен Перье.

Вскоре после этой речи Паскаль заболел и, хотя в первое время болезни не лежал в постели и даже выходил из дому, чувствовал себя так плохо, что врачи запретили ему всякий умственный труд. Близкие отнимали у него и прятали книги и не давали ему писать, ни даже говорить ни о чем, что требовало умственного напряжения. Но вынужденное внешнее бездействие только усиливало внутреннюю работу ума. Мысли приходили к нему сами собой, и он “записывал их на первых попадавшихся ему под руку клочках бумаги в немногих словах или даже полусловах”. “Часто возвращался он с прогулки домой с буквами, написанными на ногтях иглою: буквы эти напоминали ему разные мысли, которые он мог бы забыть, так что этот великий человек возвращался домой, как отягченная медом пчела”, – вспоминает Пьер Николь.

“Память у Паскаля была удивительная”, – по свидетельству того же Николя. “Я никогда ничего не забываю”, – говорил сам Паскаль. Все, что видел и слышал, врезывалось в память его неизгладимо, как стальным резцом – в камень. Но во время болезни она ослабела. “Часто, когда я хочу записать какую-нибудь мысль, она ускользает от меня, и это напоминает мне мою слабость, которую я все забываю, так что это напоминание для меня поучительнее, чем ускользнувшая мысль, потому что

главная цель моя – познать свое ничтожество”.

Когда, излагая друзьям своим замысел *Апологии*, Паскаль настаивал на “порядке и последовательности” того, что хотел написать, он ошибался и потом понял свою ошибку: “Я буду записывать мысли без порядка, но, может быть, не в бесцельном смешении, потому что это будет истинный порядок, выражающий то, что я хочу сказать в самом беспорядке”. “Свой порядок у сердца, и у разума – свой, состоящий в первых началах и в их доказательствах; а у сердца порядок иной. Никто не доказывает, что должен быть любим, излагая в порядке причины любви: это было бы смешно”.

Сделаны были и, вероятно, еще много раз будут делаться попытки восстановить в *Мыслях* Паскаля “порядок разума”. Но все эти попытки тщетны: каждый читатель должен сам находить в *Мыслях* свой собственный порядок, не внешний – разума, а внутренний – сердца, потому что нет, может быть, другой книги, которая бы шла больше, чем эта, от сердца к сердцу.

“Мне было нужно десять лет здоровья, чтобы кончить *Апологию*”, – часто говорил Паскаль. Но и в десять лет не кончил бы, судя по всем другим делам его: счетная машина, опыты конических сечений, опыт равновесия жидкостей, “Опыт о духе геометрии”, – все осталось не конченным, а “Начала геометрии”, книгу тоже не конченную, он сжег. *Письма* прерываются внезапно, именно в то время, когда достигают наибольшего успеха и могли бы оказать наибольшее действие. Очень вероятно, что та же участь постигла бы и *Апологию*.

Все, что сделал Паскаль, этот “ужасающий гений”, подобно развалинам недостроенного мира.

О, умираю я, как Бог,

Средь начатого мироздания!

Но эта неконченность – признак не слабости, а силы, потому что здесь, на земле, невозможно ничто действительно великое; здесь оно только начинается, а кончено будет не здесь.

2

Чтобы понять, что сделал Паскаль для защиты христианства, надо помнить, что его *Апология* идет не от Церкви к миру, как почти все остальные, от первых веков христианства до наших дней, а от мира к Церкви. Кто защищает себя, слабее того, кто защищает других: вот почему защищающие христианство люди Церкви слабее, чем делающие то же люди мира. Здесь, в *Апологии* Паскаля, впервые раздался голос в защиту христианства не из Церкви, а из мира.

Дело Паскаля так же велико, как дело Сократа: этот “свел мудрость с неба на землю”, а тот – веру. Может быть, со времени ап. Павла не было такой защиты христианства, как эта.

“Честный человек и геометр Паскаль делает такие признания, каких не посмели бы сделать многие христиане”, – верно замечает Тэн. “Религия недостоверна”. “Непонятно, что Бог есть, и что Бога нет”. Все непонятно. “Я смотрю во все стороны и вижу только мрак. Если бы я ничего не видел в природе, что возвещает мне Бога, я выбрал бы отрицанье; если бы я видел в ней везде знаки Творца, я успокоился бы на вере. Но, видя слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы верить, я нахожусь в таком жалком состоянии, что тысячи раз желал бы, чтобы, если есть Бог в природе, то она обнаружила бы Его недвусмысленно, а если признаки Бога обманчивы в ней, – чтобы она их совсем уничтожила”. Вот, в самом деле, удивительное признание в устах христианина; ни один человек в Церкви такого признания не сделал бы.

Огромное большинство неверующих вовсе не последовательные безбожники, а только сомневающиеся в Боге: к ним-то и обращается Паскаль в *Апологии*. **“На неверующих жизнь его действует больше, чем тысячи проповедей”, – хорошо скажет неверующий Бэйль. Так же действуют и *Мысли*, где отразилась, как в верхней зеркала, вся жизнь**

Паскаля. Здесь, в *Апологии*, как почти во всем, он – между двух, или, вернее, между четырех огней: две Церкви, янсенистская и католическая, – два огня; и еще два – Церковь и мир.

Что сделал Паскаль, янсенисты не поняли. Кто он такой для ближайшего к нему из них, Пьера Николая? Только “собиратель ракушек”. “Мало будет он известен потомству, – говорит тот же Николь в надгробной речи над Паскалем. – Он был царем в области духа... Но что от него осталось, кроме двух-трех довольно бесполезных, маленьких книжек?”

Мысли Паскаля Св. Инквизиция сожгла бы, а его друзья, янсенисты, хуже сделают: выжгут цензурой из книги его все, чем она жива и действительна; обезоружат его и выдадут головой врагу.

Слабо любят его друзья – янсенисты, а враги – католики – сильно ненавидят. Парижский архиепископ Гардуэн де Перефикс (Hardouin de Ригифмхе) хочет “вырыть из могилы тело его, чтобы бросить в общую яму”, как падаль нечистого пса.

Но хуже для Паскаля, чем мнимые христиане и действительные безбожники, – люди, верующие в иного Бога, дети Матери Земли, но не от Отца Небесного, – такие, в христианство необратимые, потому что для него непроницаемые, люди, как Монтень, Мольер, Шекспир, Спиноза и Гете. Вот вечные враги его, а ведь они-то и сотворят то человечество грядущих веков, для которого только и делал он то, что делал. Мог бы и он, впрочем, утешиться и, вероятно, утешался тем, что у него и у Христа одни и те же враги.

“Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий” (Лука, 2:34), – это можно бы сказать и о Паскале.

“Какой великий ум, и какой странный человек!” – таков приговор Мольера над Паскалем после воображаемой беседы их у Сен-Бева. “Странный человек” значит “почти или совсем безумный”. Но это кажущееся людям мира сего безумие Паскаля есть не что иное, как “безумие Креста”. “Для такого сердца, как у него, возможно было только одно из двух – или Бездна, или Голгофа”. “Плачущий у подножия креста Архимед” – вот кто такой Паскаль. “Я простираю руки к моему Освободителю, Который сошел на землю, чтобы пострадать и умереть за меня”.

Может быть, после первых людей, увидевших в Сыне Человеческом Сына Божия, никто не называл Христа *Спасителем* с таким бесконечным страхом гибели и с такой бесконечной надеждой спасения, как Паскаль.

О, вещая душа моя,
О, сердце полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Так, ты жилище двух миров;
Твой день – болезненный и страстный,
Твой сон – пророчески-неясный,
Как откровение духов...
Пусть страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые,
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Лучше нельзя выразить того душевного состояния, в котором написаны *Мысли*.

3

Те, кто слышал Паскаля и хотя бы немного понял (совсем не понял никто), уже никогда не могли слышанного забыть. Люди вспоминают и записывают речи его, сказанные лет десять назад, как будто слышали их вчера. Эта незабвенность слова его зависит от

нескольких совершенств в его языке.

Первое совершенство можно бы определить как общий закон языка, математически: сила речи обратно пропорциональна количеству слов; или эстетически, как определяет сам Паскаль, тут же исполняя этот закон в совершенстве, “красота умолчания”. Кажется, двое только равны Паскалю по силе и сжатости речи – Данте и Гераклит, а превосходит его только один Единственный. Краткость и сила речи в *Мыслях* такая, как у человека в смертельной опасности – в пожаре или потопе. “Истина без любви – ложь”. “Человек – мыслящий тростник”. “Умрешь один”. Большого в меньшем никто не заключал. Надо быть очень пустым человеком, чтобы не чувствовать от этих кратких слов Паскаля почти такого же действия, какое чувствует любящий от одного, впервые услышанного от любимой слова, “Люблю”, или умирающий даже не от услышанного, а только угаданного в лицах близких, “Умрешь”.

Второе совершенство в языке его – простота. “Надо быть, насколько возможно, простым и естественным; ничего не преуменьшать и не преувеличивать”. “Надо писать, как говоришь”. Очень высоко ценит он “Мысли, рожденные в обыкновенных житейских разговорах”. “Когда язык совершенно естествен, то читатель удивлен и восхищен, потому что думал найти писателя, а нашел человека”.

Третье совершенство – точность. “Некоторые *Мысли* Паскаль переделывал от восьми до десяти раз, хотя уже и в первый раз они выражены так, что всякому другому могли бы казаться совершенством”. Надо видеть фототипии с рукописи *Мыслей*, чтобы понять, как бесконечны усилия Паскаля в поисках точности.

Четвертое совершенство – порядок слов. “Тот же мяч в игре, но один его кидает лучше другого; те же в речи слова, но действие их различно, смотря по тому, в каком порядке расположены слова”.

Пятое совершенство – вкрадчивость. Надо не доказывать, а внушать: “Надо делать на своем собственном сердце опыт того, что хочешь сказать, так, чтобы слушатель вынужден был сдать”.

Шестое совершенство – соединение страсти с мыслью. Лучше всего знающая Паскаля Жаккелина ждет всегда “великих крайностей от его кипящего сердца”. “Спорит он всегда так горячо, как будто сердится на всех и ругается”. Страстно чувствовать умеют все, но только очень немногие умеют *страстно мыслить*, как Паскаль. Исступление отвлеченнейшей и, как будто, холоднейшей мысли у него подобно исступлению страсти; чем отвлеченнее, тем страстнее, огненней. Как руку на морозе обжигает схваченное железо, так иногда отвлеченнейшие мысли Паскаля обжигают сердце.

И, наконец, седьмое и главное совершенство в языке его – постоянное присутствие “антиномического”, “противоположно согласного”. В каждой капле морской воды чувствуется соль; в каждом слове Паскаля слышится “противоположно-согласное” (не вскрытая Троичность). Может быть, он только “собиратель ракушек”, но на таких берегах, где чувствуется постоянный запах Божественной Соли – неземное дыхание Трех. Этим язык Паскаля напоминает больше всего Евангелие, насколько язык человеческий может напоминать Божественный.

“Он писал только для себя одного”, – говорит Этьен Перье в “Предисловии к *Мыслям*”. Так оно и есть: в самых глубоких мыслях Паскаль как будто забывает, что пишет *Апологию*, и что кто-то будет его читать, – забывает все и остается наедине с самим собой и с Богом. В этом необычайность и единственность *Мыслей*: кажется, в таком уединении с Богом и с самим собой не был никто из людей.

Плачущий и утешающий, пророческий хор Океанид и Скванный Прометей – *Мысли* Паскаля и Человечество. Это больше, чем книга; это вечно кровью сочащаяся рана в сердце человечества.

“Паскаль проходит всего человека, чтобы дойти до Бога”. Вот почему *Апология*, защита христианства, начинается у него с Антропологии, человековедения. В несомненной для всех людей очевидности – в их бесконечном несчастье – Паскаль находит первую, незыблемую точку всей своей *Апологии*.

“Кто увидит себя между двумя безднами – небытия и бесконечности, – ужаснется”. “Я знаю только одно, – что скоро умру; но что такое эта неизбежная смерть, я не знаю”. “Как бы ни была хороша комедия, ее последнее действие всегда кровавое. Кинут щепотку земли на голову, и это уже навсегда”. “Между нами и адом или небом – только жизнь – самое хрупкое из всего, что есть в мире”. “В пропасть люди бегут, что-нибудь держа перед глазами, чтобы не видеть пропасти”. Это мешающее видеть Паскаль отнимает от глаз человека, чтобы остановить его на краю пропасти.

“Есть что-то непонятное и чудовищное в чувствительности людей к ничтожнейшим делам и в совершенной бесчувственности к делам величайшим. Точно заколдованные какой-то всемогущей силою, погружены они в сверхъестественный сон”. “Множество людей, осужденных на смерть, закованы в цепи, и каждый день одних убивают на глазах у других, а те, кто остается в живых, смотрят друг на друга с отчаянием и ждут своей очереди”. “Этот человек в тюрьме не знает, постановлен ли над ним смертный приговор, но знает, что ему остается только один час, чтобы это узнать, и что этого часа довольно, чтобы отменить приговор; но вместо того, чтобы воспользоваться этим часом, он играет в карты. Таков сверхъестественный сон людей; это отяготение руки Божией на них”. “Видя немому всего мира, видя человека, лишённого света, покинутого на самого себя в самом глухом углу мира, не знающего, кто и зачем бросил его туда, – я ужасаюсь, как перенесенный, во время сна, на пустынный и страшный остров, человек, который проснулся, не зная, где он, и не имея возможности спастись с этого острова”.

Паскалю в *Апологии* нужен человек последнего отчаяния, накануне самоубийства. “Вместо того, чтобы выбрать какую-нибудь веру, он (безбожник) решает себя убить”. Мелькала ли мысль о самоубийстве у самого Паскаля? Сделал ли он и этот страшный “опыт на своем собственном сердце”?

5

Люди, соединенные в общества, народы, государства, так же безумны и несчастны, такие же заколдованные, погруженные в “сверхъестественный сон”, как всякий человек в отдельности.

“Люди естественно ненавидят друг друга”. “Каждое человеческое “я” хотело бы поработить все остальные”. “Каждый человек – все для самого себя, потому что, когда он умирает, то для него умирает все; вот почему каждый хочет быть всем для всех”. “Люди заставляют служить похоть общему благу; но это только – лицемерие и ложный образ любви, а на самом деле, ненависть... Злое в человеке начало этим не истреблено, а только прикрыто”. “Все в мире есть похоть чувственности, похоть знания или похоть власти. Горе проклятой земле, которая этими тремя огненными реками не орошается, а воспламеняется!.. Эти реки текут и падают, и увлекают все”.

Паскаль обличает ложь и бессмыслицу человеческих законов. “Нет ничего справедливого и несправедливого, что не изменялось бы с изменением климата. Только три градуса широты опрокидывают законодательство; меридиан решает истину... Жалкая справедливость, ограниченная рекою! Истина – по сию сторону Пиренеев, а по ту – ложь”. “Что может быть нелепее того, чтобы человек имел право меня убить только потому, что живет на том берегу реки и что его государь поссорился с моим?” “За что вы меня убиваете? – Как за что? Разве вы не живете на том берегу? Если бы вы жили на этом, я был бы убийцей... а теперь я – доблестный воин”.

Сила закона зависит не только от пространства, но и от времени. “Кража, кровосмешение, детоубийство, отцеубийство, – все некогда считалось добродетелью”. “Кто

пристальнее взглянуть в основание законов, тот найдет его таким слабым, что, если не привык к чудесам человеческого воображения, то удивится, что и одного века достаточно, чтобы сделать закон достойным уважения. Все искусство основывать и разрушать государства заключается в том, чтобы нарушать установленные обычаи, исследуя их в источнике и показывая в них недостаток власти и справедливости”.

Так же обличает Паскаль ложь и бессмыслицу собственности. „Эта собака моя”, – говорят глупые дети. „Это место под солнцем мое”, – говорят умные взрослые. Вот начало и прообраз всех завоеваний”. “Что такое собственность? Забытый грабеж”. “Равенство собственности, конечно, справедливо. Но так как люди не могут заставить людей подчиняться справедливости как силе, то заставляют их подчиняться силе как справедливости”.

В 1660 году Паскаль давал уроки какому-то мальчику, вероятно, четырнадцатилетнему сыну герцога де Льюнь, одного из господ Пор-Руаяля. Кое-что из этих уроков записал, лет через десять, Пьер Николь, со слов присутствовавшего на, них, под заглавием: “Три речи о сильных мира сего”. Речи эти однозвучны с тем, что говорит Паскаль в *Апологии* о лжи государства – одного из самых чудовищных и мучительных видений в “заколдованном сне” человечества.

“Вы должны иметь две мысли – одну (явную) для общества, которая возвышала бы вас надо всеми людьми, и другую (тайную, для себя), которая унижала бы вас и равняла со всеми людьми, потому что таково ваше естественное состояние, – учит Паскаль маленького герцога. – Царство ваше невелико... Но и величайшие цари земли, подобно вам, суть цари похоти... потому что только Бог есть Царь любви... Зная ваше естественное состояние, не думайте, что ваша собственная сила подчиняет вам людей... Не будьте же к ним жестоки... Удовлетворяйте их законные желания... будьте милосердны, делайте добро, какое можете, и вы будете истинным царем похоти. То, что я вам сейчас говорю, стоит немного, и если вы на этом остановитесь, то погибнете, но, по крайней мере, погибнете как честный человек (*honnkte homme*). Есть множество людей, погибающих подло и глупо, в алчности, в зверстве, в насилии, в разврате, в злобе, в богохульстве. Путь, который я вам указываю, благороднее, но все же великое безумие обрекать себя на гибель. Вот почему не должно на этом останавливаться; но должно, презирая похоть и царство ее, стремиться к тому Царству Любви, где все подданные дышат одною любовью и желают только блага любви. Этот путь укажут вам другие, а с меня довольно и того, что я вас остерегаю от того жестокого пути, которым идут многие сильные мира сего, потому что истинного состояния своего не знают”.

Кажется, благороднее, проще и убедительнее никто не говорил о том, как “царство мира сего” относится к Царству Божьему.

6

Так же, как ложное соединение людей – государство, когда оно делается единственной, последней и высшей целью, когда “Град человеческий” (*Civitas hominum*) по св. Августину, становится на место “Града Божия” (*Civitas Dei*), Церкви, – Паскаль обличает и ложное знание, когда оно, делаясь тоже последней и высшей истиной, становится на место религии.

Те немногие, кто пробудился от “заколдованного сна”, напрасно ищут спасения во внешнем знании природы. “Внешнее знание не утешит меня от духовного невежества во дни печали, но духовное знание утешит всегда от внешнего невежества”. “Что такое человек в природе? Перед бесконечностью – ничтожество, перед ничтожеством – все; середина между ничем и всем. Человек бесконечно далек от познания (обеих противоположных) крайностей; все концы и начала скрыты от него непроницаемой тайной; он одинаково не способен познать ни того небытия, из которого вышел, ни той бесконечности, которою будет поглощен”. “Наша истина и наша справедливость – две такие неуловимые точки, что орудия нашего ума слишком тупы, чтобы их найти с точностью, и, если даже находят, то острия

этих орудий, расщепляясь, упираются где-то около тех двух точек, скорее в ложь, чем в истину”.

Царь внешнего, пробуждающего людей от “сверхъестественного сна”, чтобы они могли увидеть гибель, но от нее не спасающего знания – Декарт. “Я не могу простить Декарту; он хотел обойтись без Бога во всей своей философии, но вынужден был позволить Ему дать миру пощечину, чтобы привести его в движение, а потом ему уже нечего было делать с Богом. Декарт бесполезен и сомнителен”. Слишком ясно предчувствует Паскаль, что Декарт будет отцом всего внешнего, механического, людей от Бога уводящего знания, чтобы его “простить” и даже быть к нему справедливым. Слишком хорошо знает Паскаль, что нет ничего бесстрастнее, беспощаднее механики; нет ничего противоположнее живому, любящему и страдающему сердцу человека. Декарт для Паскаля – воплощенный демон Геометрии, самый холодный из всех демонов, вечно искушающий Бездною; “Бросься отсюда вниз, ибо написано: „Ангелам своим заповедал о Тебе сохранить Тебя; и понесут Тебя на руках своих, да не преткнешься о камень ногою Твоею””.

7

Истинное знание, “утешающее в дни печали”, есть не внешнее знание мира, а внутреннее знание человека. Проникая в последние, никем до него не исследованные, глубины души человеческой, Паскаль находит в них как бы развалины царственного величия или запустевший и разрушенный храм какого-то неведомого бога, и в полустертых на стенах его надписях читает имя этого бога: “Человек”.

“Все несчастья человека доказывают его величие: это несчастья развенчанного царя”. “Царственное величие человека видимо даже в его ничтожестве, ибо кто, кроме развенчанного царя, чувствует себя несчастным, потому что он не царь?.. Кто несчастен, потому что у него только один рот... и кто не несчастен, потому что у него только один глаз?” “Чем больше мы узнаем, тем больше открываем величия и низости в человеке”. “Жалок человек и велик, потому что знает, что жалок”. “Дух человеческий, этот верховный судия мира, не так свободен, чтобы не быть смущенным первым около него происходящим шумом. Пушечного грома не нужно, чтобы помешать ему думать; для этого достаточно визжащего флюгера или скрипящего блока. Не удивляйтесь, что этот человек нехорошо мыслит: комар жужжит около уха его... Если вы хотите, чтобы он нашел истину, отгоните комара, который смущает и побеждает этот могущественный ум, правящий городами и царствами. Смешной бог – человек”.

А все-таки “царственное величие” человека – мысль. Человек – только тростник, самый слабый в мире, но тростник мыслящий. Чтобы раздавить его, не нужно миру вооружаться на него: для этого достаточно веяния ветра, капли воды. Но если бы мир раздавил человека, он был бы все-таки выше мира, потому что знал бы, что умирает, а мир ничего не знает. “Все наше достоинство в мысли. Ею мы должны возвышаться, а не пространством и временем, которых не можем наполнить. Будем же хорошо мыслить... Мир обнимает и поглощает меня пространством, как точку, но мыслью я обнимаю мир”.

“Слишком показывать человеку, как он подобен животным, не показывая, как он велик, – опасно; так же опасно слишком показывать ему величие его, не показывая низости; но всего опаснее оставлять его в неведении о том и другом... Не должно человеку думать, что он равен животным или Ангелам... но должно знать возможность того и другого. Если человек возвышает себя, я его унижаю, если он унижает себя, я его возвышаю... И всегда противоречу ему, пока он не поймет, что человек есть непонятное чудовище”. “О, какая химера человек, какое чудовище, какой хаос, какое противоречие, какое чудо! Мудрый судия всего, бессмысленный червь; хранитель истины, помойная яма лжи; слава и отребье вселенной” (вот один из бесчисленных примеров “антиномического”, “противоположно-согласного” в языке Паскаля). Смирись же, гордый разум; молчи, бессмысленная природа; познайте, что человек бесконечно превосходит человека...

Слушайте Бога!»

Бог говорит человеку: «Я – Тот, кто тебя сотворил и Кто один только может открыть тебе, кто ты такой. Ты теперь уже не тот, каким Я тебя сотворил: ты был свят, невинен, совершенен, исполнен света и разума; Я открыл тебе славу и чудеса Мои; очи твои созерцали величие Мое... Но ты захотел быть равен Мне и найти в себе самом блаженство. Тогда я покинул тебя и возмутил против тебя всю некогда тебе послушную тварь».

Здесь подходит Паскаль к тому сокровеннейшему и, для «внешнего знания», непостижимейшему, что соединяет Антропологию, Человековедение, с *Апологией*, Защитой христианства, – к религиозному опыту первородного греха. Он говорит о нем так же ясно, просто и убедительно, как о своих научных опытах.

8

«Самая для нас непостижимая тайна есть наследие первородного греха, потому что нет ничего более противного нашему разуму, чем то, что грех первого человека сделал виновным всех, кто, будучи так далек от него, казалось бы, не мог в нем участвовать. Это кажется нам не только невозможным, но и несправедливым... А между тем, узел всех наших судеб завязан... именно в этой бездне так, что человек еще более непостижим без этой тайны, чем сама она непостижима для человека».

Самый темный и таинственный узел человеческих судеб заключается в неразрешимом для человека противоречии между бесконечною волею к счастью и столь же бесконечною невозможностью счастья. «Человек, вопреки всем своим страданиям, хочет быть счастливым и не может не хотеть». «Жажда счастья есть причина всех человеческих действий, даже и тогда, когда человек идет вешаться... О чем же нам говорит эта бессильная жажда, как не о том, что человек был некогда действительно счастлив и что теперь осталась у него от этого счастья только пустота... ненаполнимая ничем, кроме содержания бесконечного – т. е. Бога?»

«Если человек создан не для Бога, то почему же он счастлив только в Боге? Если человек создан для Бога, то почему он противится Богу?» «Вся природа такова, что всюду на ней видны знаки потерянного Бога». «В странную, для человеческих взоров непроницаемую тайну прячется Бог... Он таился под покровом природы до своего воплощения, а когда Ему должно было явиться, то скрылся еще более под покровом человечества. Легче было узнать Его, когда Он был невидим, чем когда Он явился... Все явления мира суть покрывала на Боге. Верующие должны узнавать его во всем».

«Все пророчества и чудеса, все доказательства веры не до конца убедительны, но и не таковы, чтобы не было в них основания для веры. Есть в них очевидность, и есть темнота, чтобы просвещать одних и ослеплять других. Но очевидность такова, что превосходит очевидность противного или, по крайней мере, ей равна». «Неверно, что все скрывает Бога, но так же неверно, что все открывает Его; верно лишь то, что Бог скрывается от тех, кто искушает Его, и открывается тем, кто ищет Его, потому что люди одновременно и недостойны Бога, и способны к Нему; недостойны по своему растрению, а по своей природе способны». «Истинно, Ты – Бог сокровенный» (*Vere tu es Deus absconditus*), по слову пророка (Исайя, 45:15). Если бы не было темноты (в вере), то человек не чувствовал бы своего растрения; если бы не было света, то человек не надеялся бы на исцеление. Итак, не только справедливо, но и полезно, чтобы Бог был отчасти скрыт и отчасти открыт, потому что для человека одинаково опасно знать Бога, не зная своего ничтожества, и знать свое ничтожество, не зная Бога».

9

Главный метод религиозного познания у Паскаля заключается в том, что он переносит его из разума в то, что называет «сердцем», а мы назвали бы «волей». В этом религиозный

опыт его совпадает с научным: “Все познания первых начал – пространства, времени, движения, чисел, – идут не от разума, а от сердца (воли)”. “Истину мы видим не в силлогизмах, а во внутреннем озарении... Внутренним только осязанием познается Бог (*per tactum intrinsecum*)”, — с этим утверждением Кампанеллы согласился бы Паскаль.

В этом новом методе Богопознания против Паскаля не только вся философия, от Аристотеля до Декарта, Спинозы и Канта, но и вся католическая Церковь, от св. Фомы Аквинского до Ватиканского собора 1870 года, объявившего анафему тому, кто отрицает, что “при свете естественного человеческого разума бытие Божие достоверно познаваемо”.

“Сердцем, а не разумом, узанный Бог – вот что такое вера”, – учит Паскаль. “Есть и у сердца свои разумные доводы, которых разум не знает... Разве мы любим по разуму?” “О, как далеко от познания Бога до любви к Нему!” “Если люди верно говорят о делах человеческих: „Надо знать, чтобы любить”, то святые говорят о делах Божиих: „Надо любить, чтобы знать””. “В истину нельзя войти без любви”. “Истина без любви... ложь”.

“О, как я люблю видеть этот гордый разум униженным и умоляющим!” “Нет ничего соответственнее разуму, чем отречение от разума”. “Последнее действие разума сводится к тому, что есть нечто, бесконечно большее разума”. “Если даже естественные явления выше разума, то насколько более – сверхъестественные”. “Мудрость возвращает нас к детству”.

“Все, что непонятно, все-таки есть: бесконечное число, бесконечное пространство, равное конечному”. “Невероятно, чтобы Бог соединился с человеком?... Но я хотел бы знать, по какому праву такое слабое животное, как человек, измеряет милосердие Божие и ставит ему границы. Человек не знает, что такое он сам; где же ему знать, что такое Бог? Как же он смеет утверждать, что Бог не может сделать его способным к общению с Собой?” “Христианство очень странно: оно велит человеку признавать себя гнусным и учит его уподобляться Богу... Как мало у христианина гордости, когда он соединяется с Богом, и как мало низости, когда он равняет себя с червем земли!” “Я хвалю только тех, кто ищет, стелая. Надо устать до изнеможения в поисках истинного блага, чтобы протянуть, наконец, руки к Освободителю”.

10

Кроме двух книг – *Опытов* Монтеня и *Руководства* Эпиктета, третья главная книга для Паскаля в *Апологии* – *Кинжал Веры*, испанского доминиканца Раймонда Мартини, где чудом уцелели от огня Инквизиции древнейшие памятники иудейской письменности. Паскаль ищет в них совпадения христианского предания со свидетельствами великих учителей Талмуда в том, что он называет “непрерывностью” (*perpétuité*), и что мы могли бы назвать единством религиозного опыта человечества в веках и народах, во всемирной истории.

“Что бы ни говорили (неверующие) о христианстве, надо признать, что в нем есть нечто удивительное. “Это вам кажется, потому что вы родились в христианстве”, могут мне возразить. Нет, вовсе не потому, а наоборот: я противлюсь христианству, потому что в нем есть это удивительное... Люди, от начала мира, ожидали Мессию... и утверждали, что Бог им открыл, что родился Искупитель... Это удивительно”.

Исторические ошибки Паскаля слишком явны. “Летописи иудейского народа на несколько веков древнее, чем летописи остальных народов”. “Весь этот великий и многочисленный народ произошел от одного человека” (Авраама). “Греки и римляне заимствовали свои законы от иудеев”. “Сим, видевший Адама, видел Ламеха, который видел Иакова, а Иаков видел тех, кто видел Моисея”. Такая “история” для нас уже немного стоит. Но все эти ошибки Паскаля несущественны, потому что сделаны в порядке Истории, а не Мистерии, – внешнего знания о мире, а не внутреннего знания о человеке – того, на чем зиждется вся *Апология*.

Судя по тому, что Паскаль ставит наравне с ветхозаветными пророчествами чудное сказание Плутарха о кормчем Тамузе, услышавшем таинственный крик: “Умер Великий

Пан!” (что не пришло бы, конечно, и в голову никому из церковных апологетов), – он мог бы понять пророческий смысл и таинств Елевзиса, Египта, Вавилона, Крито-Эгеи – всего, что мы называем “христианством до Христа”, что, в самом деле, есть одно из удивительнейших чудес всемирной истории.

11

Огненное сердце *Мыслей* — та ночная беседа Паскаля с таинственным Гостем, которую он сам называет “*Иисусовой Тайной*”. Главное жизненное действие сердца – посылать во все, даже в мельчайшие сосуды тела кровь; так же действует и “Тайна” в *Мыслях*: в каждой из них слышится биение, в каждой льется кровь этого сердца.

Все начинается и кончается в *Мыслях* тем “сверхъестественным сном” человечества, которым спят ученики Иисуса в Гефсиманскую ночь. Главная цель Паскаля—разбудить, расколдовать людей от этого “заколдованного сна”. “В смертном борении будет Иисус до конца мира: в это время *не должно спать*”.

В “Иисусовой Тайне”, этом не внешнем, а внутреннем “видении”, “явлении” Христа – совершается как бы Его “Второе Пришествие”, или вечное “Присутствие” в мире:

“И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь”. (Матфей, 28:20)

“Иисус – один на земле”, – вспоминает Паскаль, может быть, не только о Гефсиманской ночи, но и о своей.

“Если человек – один, Я с ним”, –

по “незаписанному” в Евангелии слову Господню, “*Аграфы*”. “Иисус один” – наедине с Паскалем. В этой внутренней близости Человека к человеку чувствуется близость не только Духа к духу, но и Тела к телу. Кажется, ученики Христа узнали бы в этой ночной беседе Паскаля голос Учителя.

Может быть, точно такие же “Явления” – “Присутствия” бывали и у великих Святых в Церкви; но грешному человеку в миру это Явление, кажется, первое, еще никогда не бывалое.

Люди, слышавшие сами или помнившие тех, кто слышал сам живой голос Иисуса, хранили в памяти и передавали друг другу, а иногда и записывали, до конца первого и начала второго века, подлинные, из уст Его услышанные, но в Евангелии “не записанные”, слова Господни, *Аграфы*. Стуит только вслушаться в иные слова “Иисусовой Тайны”, чтобы убедиться по нечеловеческому звуку их, что и эти слова – “Аграфы”, и что они могли быть услышаны Паскалем только из уст самого Иисуса.

Или ты хочешь, чтобы Я за тебя лил Кровь Мою, когда ты за Меня и слезы не пролил?

Не бойся и молись за себя с таким же доверием, как за Меня.

Я больше твой друг, чем все твои друзья, потому что Я сделал для тебя больше, чем они, и потому что они за тебя не пострадали бы, как Я страдал, и не умерли бы, как умер Я, еще во дни твоей неверности и ожесточения.

Я тебя горячее люблю, чем ты любил некогда скверну твою.

Кто не услышит и не узнает в этих словах Иисусова голоса, тот не узнает его и в Евангелии.

12

“Противоположное – согласное”, – учит Гераклит. “Из противоположного возникает

прекраснейшая гармония; из противоборства рождается все”. Это значит: все рождается из противоборства и согласия Двух Начал в Третьем—из божественной тайны Трех. “Бог есть день – ночь; зима – лето; война – мир; сытость – голод: все противоположности, *enantia*, в Боге”. *Энантиизмом*, “философией противоположностей”, можно бы назвать всю мудрость Гераклита, и мудрость Паскаля также.

Главный религиозный метод его – “*согласование противоположностей*” (*accorder les contraires*). Паскаль, вероятно, ничего не знал о Гераклите; тем удивительнее эти его совпадения с Гераклитом не только в мыслях, но и в словах.

“Два противоположных начала – с этого должно все начинать”. “И даже в конце каждой высказанной истины должно прибавлять, что помнишь противоположную истину”. “Наше (человеческое) величие заключается не в том, что мы находимся в одной из двух (противоположных) крайностей, а в том, что мы находимся в них обеих вместе и наполняем все, что между ними. Но, может быть, душа соединяет эти крайности только в одной точке, как бы в раскаленном угле”. “Противоположные крайности соприкасаются и соединяются в Боге, и только в одном Боге”. “Только в Иисусе Христе все противоречия согласованы”. “Вера объемлет многие, как будто противоречивые, истины... Две природы (Божественная и человеческая) соединяются в Иисусе Христе, а также два мира (создание нового неба и новой земли)”.

“Он (Христос) есть мир наш, соделавший из двух одно и разрушивший стоявшую между ними преграду”, учит Павел (Ефесянам, 2:14), и тому же учит Паскаль. Весь религиозный опыт его достигает высшей точки в этом учении о двух Божественных Началах – Отце и Сыне, – соединяющихся в Третьем Начале – в Духе. Если так, то огненное сердце *Мыслей* — “Иисусова Тайна” – есть не что иное, как тайна Трех.

“Бесконечным расстоянием между телами и духами прообразуется расстояние еще бесконечно большее, между духом и любовью, потому что оно сверхъестественно... Эти *три порядка* (Тело, Дух, Любовь) различны по качеству”. “Все тела – небо, звезды, земля и все царства земли – не стоят ни малейшего из духов, потому что он знает все это и знает себя, а тела ничего не знают. Все тела и все духи, вместе взятые, и все, что от них произошло, – не стоят ни малейшего движения любви, потому что это относится к порядку бесконечно высшему. Все тела и духи не могли бы произвести ни малейшего движения любви: это невозможно, потому что относится к иному, сверхъестественному порядку”.

Сам того не зная, Паскаль в этом учении о “трех Порядках” продолжает, через пять веков, дело, начатое Иоахимом Флорским, – учение о “трех состояниях мира” – “трех Царствах” – Отца, Сына и Духа.

“Три порядка” – в созерцании Паскаля, а в действии, в жизни – три чуда: Огонь, Терн, Кровь (“каплю крови Моей Я пролил за тебя”, говорит ему Иисус в “Тайне”). Каждое из этих трех чудес было для него как бы физическим и метафизическим вместе *осязанием прерыва* между порядками—таким же убедительным опытом, как понижение ртутного столбика в стеклянной трубке при восхождении на высоты, и, в то же время, переходом из одного порядка в другой, из низшего – в высший. В первом чуде – Огня—совершился для Паскаля переход из первого порядка– вещества, плоти, – во второй порядок—Духа; во втором чуде – Терна – переход из второго порядка – Духа, в третий – Любви, где и совершается третье чудо – Крови.

13

“Я еще не все сказал; вы увидите...”. Это, вероятно, одна из последних, неконченных *Мыслей* Паскаля, одно из его последних недоговоренных слов. “Страх Земли” – так можно бы определить то, почему он не сказал и не сделал всего, что мог бы сказать и сделать.

Господня земля и что наполняет ее (Псалтырь, 23:1), —

этого Паскаль не говорит и не чувствует. Небо для него Господне, но не земля.

Слава Тебе, Господи, за Мать нашу, Землю, которая носит нас всех и питает, —

этого он тоже не чувствует и не говорит, как св. Франциск Ассизский в “Песне тварей”. “Сердцем узнанный Бог” для Паскаля не в человеке и в природе, а только в человеке. Он изучает, испытывает природу, но не любит ее, а боится: “Вечное молчание этих беспредельных пространств меня ужасает”. Ужас природы и есть для него тот ужас Бездны, который преследует его всю жизнь:

Была с Паскалем Бездна неразлучна.

Кажется иногда, что одержимый “страхом земли” он не знает и земных путей человечества – того, как движется оно во времени, в истории от Первого Пришествия ко Второму, и что нет у него эсхатологии, потому что нет истории. Верит ли он в “Третий Порядок Любви” – Царство Божие – не только на небе, но и на земле? Если и верит, то вера эта не доходит до его сознания.

Страх Земли у Паскаля – в порядке космическом, а в человеческом – страх Плоти. Догмат Воскресения он утверждает. “Почему они (безбожники) говорят, что Воскресение невозможно? Что труднее – родиться или воскреснуть; быть впервые тому, чего никогда еще не было, или быть снова тому, что уже было однажды; труднее ли в бытии возникнуть или вернуться в бытие? Легким нам кажется первое только по привычке, а по недостатку привычки другое кажется нам невозможным: простонародный способ суждения”. Проще, яснее и убедительнее никто об этом не говорил. Но кажется иногда, что самому Паскалю это ненужно, а если и нужно, то этого он не сознает, а только предчувствует. Кажется иногда, что для него то, что Иисус умер или даже всегда умирает (“в смертном борении будет Иисус *до конца мира*”, *jusqu'a la fin du monde*), нужнее и действительнее, чем то, что Он воскрес.

Страх Земли, страх Плоти – может быть, главная причина того, что Паскаль не соединяет двух вопросов, которые больше всего мучают его и для которых он больше всего сделал, – вопроса о Трех Порядках и вопроса о Церкви; главная причина того, что он умом ясно не понимает, а только сердцем смутно чувствует, что ответ на эти два вопроса найден будет лишь тогда, когда они соединятся, потому что Единая Вселенская Церковь может осуществиться только в “Третьем Порядке Любви” – в “Третьем Царстве Духа”.

Три Порядка в созерцании – три чуда в действии: вся жизнь Паскаля под знаком Трех. “Три в Одном – Отец, Сын и Дух Святой – есть начало всех чудес...”. Этим исповеданием Данте в “Новой Жизни” начинает свою жизнь; им же кончает ее в *Божественной Комедии*:

Там, в глубине Субстанции Предвечной,
Явились мне три пламеневших круга
Одной величины и трех цветов...
О, вечный Свет, Себе единосущный,
Себя единого в Отце познавший,
Собой единым познанный лишь в Сыне,
Возлюбленный Собой единым в Духе!

Тем же исповеданием мог бы кончить жизнь свою и Паскаль, и почти кончил. “Я еще не все сказал”: если бы сказал и сделал все, то понял бы, что разбудить, расколдовать человечество от “заколдованного сна” можно только этим всемогущим, из всех человеческих слов самым божественным, – Три.

Вышел ли Паскаль из католической Церкви или остался в ней? Спор об этом ведется вот уже триста лет и, вероятно, будет вестись всегда, потому что он неразрешим в той плоскости, где происходит, – в “двух низших порядках – плоти и духа”; он мог бы решиться только “в третьем, высшем порядке любви”.

В 1665 году, два с половиной года по смерти Паскаля, архиепископ Парижский Гардуэн де Перефикс, тот самый, который хотел вырыть из могилы тело его, чтобы бросить в общую яму, – призвав о. Павла Беррье, спросил его с грозным видом, правда ли, что он причастил такого отъявленного еретика-янсениста, как Паскаль? О. Павел оробел и смутился, но ответил по совести, что Паскаль, еще года за два до смерти, отрекся от янсенистской ереси и умер правоверным католиком. Архиепископ тотчас велел ему записать это показание и, хотя обещал хранить его в тайне, но слова не сдержал и разгласил.

Лет через шесть о. Павел писал Жильберте Перье: “Слышал я, что вы огорчены тем, что люди злоупотребляют показанием о вашем брате, которое вынудил у меня покойный Парижский архиепископ... Я был тогда убежден, что верно понял слова, сказанные мне вашим братом... Но теперь вижу, что они могли иметь и, как я полагаю, действительно имели *не тот смысл, какой я им придал*... Я желал бы от всей души, чтобы это заявление никогда не было мною сделано, потому что оно, как мне теперь кажется, не соответствует истине, и потому, что им злоупотребляют вопреки моей воле”. И еще года через два – Этьену Перье: “Я никогда не говорил, что покойный господин Паскаль от чего-либо отрекся”.

Так падает главное и, в сущности, единственное свидетельство о том, что католики называют “отречением Паскаля от янсенистской ереси и его возвращением в лоно Римской Церкви”.

Бедному о. Павлу тем труднее было понять, что думал Паскаль о Церкви, что, может быть, тот и сам это не всегда понимал. Ясно только одно: ни в протестантской, ни в католической Церкви Паскаль не вмещается; он между них, как между двух огней. Ясно также, что в последние годы он отошел от “господ Пор-Руаяля”. Как ни далек он от иезуитов – от янсенистов он еще дальше. Чтобы в этом убедиться, стоит только вспомнить тот уцелевший в *Мыслях* черновой набросок для *Писем*: “Больше всего следует исповедовать *обе противоположные истины*, в то время, когда одна из них отрицается. Вот почему иезуиты так же неправы, как

янсенисты; но все-таки эти еще более неправы, чем те, потому что иезуиты яснее исповедуют *обе истины*”.

“Иисус Христос – Искупитель всех... Когда вы (янсенисты) говорите, что Он умер не за всех... вы доводите людей до отчаяния... вместо того, чтобы приводить их к надежде”. Так отрицает Паскаль одну из глубочайших основ всего протестантства, от Лютера и Кальвина до Янсения, – догмат об искуплении не всех, а только немногих, предопределенных, “избранных”. Но если бы суд его над католической Церковью не был так суров, как над протестантской, то он не повторял бы за св. Бернардом Клервосским: “К Твоему суду взываю, Господи!”

15

“*Три в одном. Trus in unum*” (здесь Паскаль как будто уже предчувствует, что Вселенская Церковь осуществится только под знаком Трех). “Три в Одном – единство и множественность: католики ошибаются, исключая множественность, а гугеноты (протестанты), исключая единство”. “Если смотреть на Церковь как на единство, то глава ее, Папа, – все; но если смотреть на нее как на множественность (соборность), то Папа – только часть Церкви... Множественность, которая не сводится к единству, есть беспорядок, а единство, которое не зависит от множественности, есть произвол”.

Вот что говорит Паскаль о том, чему суждено было сделаться столпом Римской Церкви, – о папской непогрешимости: “Бог не творит чудес в обыкновенном водителе”

Церкви. Странною была бы непогрешимость одного (Папы), но естественна – непогрешимость многих людей (Церкви), потому что водительство Божие скрыто в природе (и в человечестве) – как во всех делах Божиих”. Так не мог бы говорить Паскаль, если бы уже не стоял на пороге католической Церкви и не был готов из нее выйти.

“Молчание есть величайшее из всех гонений. Святые никогда не молчали... После того, как Рим произнес приговор... должно тем сильнее кричать, чем приговор несправедливее и чем больше хотят заглушить крик, – пока не придет, наконец, Папа, который выслушает обе стороны... Добрые Папы найдут вопиющую Церковь”. “О, неужели я никогда не увижу христианского Папу на престоле св. Петра!” – эти слова друга своего Дома (Domai), единственного человека, который кое-что понимал в муке Паскаля о Церкви, мог бы и он повторить.

“Кажется, обе Церкви (протестантская и католическая) правы, потому что в каждой из них – только половина истины”, – говорит в книге *Восстановление Христианства*, в главе “О любви”, Михаил Сервет, “ересиарх”, сожженный дважды, – Римскую Церковь, “в изображении (*in effigie*)”, и в действительности, Кальвином. “В каждой из двух Церквей – только половина истины”, – это значит на языке Паскаля: “Две противоположные истины”, – та, что в Церкви католической, и та, что в Церкви протестантской, – соединятся в Церкви Вселенской – в “*третьем порядке Любви*”.

Лучше всего можно понять, что сделал Паскаль для будущей Вселенской Церкви, сравнив его с Лютером и Кальвином. Слабость этих обоих в том, что они вышли из католической Церкви, не пройдя ее всю до конца и исповедуя только одну из “двух противоположных истин”, “соборность”, “множественность”; сила Паскаля в том, что он вышел из католической Церкви, пройдя ее всю до конца и соединив обе истины – множественность, соборность и единство.

Лютер и Кальвин были только на пороге Вселенской Церкви под знаком Двух, а Паскаль в нее вошел под знаком Трех.